

Михаил Геллер

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН



К 70-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Mikhail Heller

ALEKSANDR
SOLZHENITSYN

(The Writer's Seventieth Birthday)

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1989

Михаил Геллер

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

(К 70-летию со дня рождения)

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1989

Mikhail Heller: ALEKSANDR SOLZHENITSYN
(K 70-letiiu so dnia rozhdeniia)

First Russian edition published in 1989
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Mikhail Heller
Copyright © Russian edition Overseas Publications
Interchange Ltd

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission

ISBN 1 870128 26 5

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed and bound in Great Britain
by Short Run Press Ltd, Exeter

ОТ АВТОРА

Собранные здесь тексты – результат встреч с книгами Александра Солженицына на протяжении многих лет. Статьи писались по ”живому следу” события – публикации очередного произведения. Мне показалось, что следует их оставить без изменений.

Сборник – скромный знак уважения и благодарности читателя великому писателю-современнику.

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Нет четкого, признанного всеми определения — великий писатель. Но никто не сомневается, что они есть. Правда, эта несомненность относится, главным образом, к покойникам, к тем, кого учат в школе и называют "классиками". С живыми — все становится неясным. Не говоря о том, что живые писатели часто вызывают раздражение современников, считается, что только время выносит окончательный приговор: автор, представляющий интерес и для следующих поколений, имеет шанс быть зачисленным в разряд (по-латински *classis*) великих.

Александр Исачевичу Солженицыну исполнилось 70 лет. Более четверти века назад произошла первая встреча читателей с ним или, что все равно, с его повестью "Один день Ивана Денисовича". Достаточно времени,

чтобы оглянуться на горную цепь книг, без которых нет русской литературы XX века. В числе признаков великого писателя — дар открытия новых миров. "Один день Ивана Денисовича" был землетрясением, которое обрушило могучие стены лжи и открыло землю ГУЛАГ: все знали о ее существовании, жили в ней, но боялись увидеть и сказать. Смелость — необходимое качество великого писателя. Орвелл сказал, что только смелые люди пишут хорошие романы. Автор "1984" имел в виду не только отвагу, необходимую для того, чтобы противостоять злой власти. Смелость нужна писателю, чтобы ломать привычные рамки устоявшихся традиций, схем, приемов, языка. Смелость необходима открывателю новых земель.

"Один день Ивана Денисовича" был открытием лагеря, сделанным бывшим зэком. Повесть была открытием героя — парадоксально неожиданного: простого русского мужика, рядового солдата, обыкновенного заключенного. Литература соцреализма, требующая "положительного героя" — принципиально антидемократична. Если герой положительный, то почему он не председатель колхоза, директор завода, секретарь райкома, наконец? Повесть была открытием языка. Читатели услышали Ивана Денисовича и его собеседников, обнаружили, что дерево русского языка еще не окончательно обстругано в телеграфный столб. Солженицын вернул в литературу "сказ", вычеркнутый вместе с книгами великих мастеров — Замятина, Зощенко, Платонова. "Сказ" — замечательный инструмент, позволяющий изображать многозначность мира и населяющих его людей. Его запрещение было логичным в литературе, высшей ценностью которой стала — однозначность.

Значение "Одного дня Ивана Денисовича" еще шире. В повести идет борьба добра и зла, жизни и смерти,

писатель говорит о взаимоотношениях человека и общества, власти и личности. Случай Ивана Денисовича — синекдоха советского общества, столкновения духа и бездуховности, веры и отчаяния. После Ивана Денисовича к читателю пришли герои "Случая на станции Кречетовка"; пришла Матрена, породившая всю позднейшую "деревенскую" литературу. Было опубликовано на протяжении очень короткого времени несколько небольших произведений, но читатели обнаружили рядом с "комнатой смеха" советской литературы, с ее деформирующими, уменьшающими и увеличивающими зеркалами, зеркало, в котором узнавались подлинные черты дома, в котором мы жили.

Едва стало очевидным значение Александра Солженицына, властям предрержавшим стало ясно, что писатель занимает слишком много места. 16 мая 1967 г. Солженицын пишет письмо IV всесоюзному съезду советских писателей. Он сообщает собратьям по перу: "Уже три года ведется против меня... безответственная клевета...". Он информирует: "Мой роман "В круге первом" (35 автор. листов) скоро два года, как отнят у меня государственной безопасностью... Моя повесть "Раковый корпус" (25 автор. листов)... не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута "Новым миром", "Звездой" и "Простором")..." Александр Солженицын спрашивает съезд писателей, "возьмет ли он защищать его, автора рассказов, романов, пьес, киносценариев. Солженицын задает вопрос: возьмет ли съезд защищать литературу? Письмо читается сегодня, как если бы сегодня оно и было написано.

Отвергнутые советскими журналами и издательствами романы Солженицына уходят в "самиздат", а затем

публикуются за границей. Исключение из Союза советских писателей в 1969 г. собратьями, а затем высылка в 1974 г. за рубеж властью становятся началом новой главы в жизни Александра Солженицына. Она отмечена прежде всего "Архипелагом ГУЛАГ". Если бы он не написал ничего другого — "художественное исследование" истории страны со дня революции поставило бы Александра Солженицына в ряд величайших писателей века. К тому же — писателя, сделавшего то, чему нет аналогии в литературе. Солженицын написал историю страны, превращенной в концлагерь; лагеря, ставшего страной; социологическое исследование "жизни во время чумы"; памятник миллионам жертв; автобиографию сына века. Для создания небывалого произведения он создал особый, собственный жанр адекватный невиданно трудной задаче. Впервые писатель открывает другую грань своего дара — талант историка, сочетающийся с одержимостью прошлым, сознанием необыкновенной важности памяти для жизни народа.

Ипполит Тэн начинает свою историю французской революции рассказом Клемента Александрийского: "В Египте алтари в храмах завешены золотканными занавесями; если вы идете вглубь храма, чтобы увидеть статую, появляется жрец... он слегка раздвигает занавес, как бы показывая бога". Что же вы видите? Крокодила, местную змею или другого опасного зверя; открывается египетский бог: чудовище на пурпурном ковре. Для Ипполита Тэна — таким чудовищем была Французская революция, обожествленная ее наследниками. А. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" разрывает красный занавес, закрывавший монстра — лагерную систему, рожденную большевистской революцией. После публикации "Одного дня Ивана Денисовича" писатель предупреждал: это первый, еще куцый и приглушенный рассказ о лаге-

ре; шум, вызванный повестью, ничто по сравнению с тем, "что будет, когда грянет правда вся". Вся правда грянула в "Архипелаге". Был воздвигнут Памятник Неизвестному Заключенному. Была написана история "закона", открывшего пути, позволившие заселить "страну ГУЛАГ" миллионами рабов. Сегодня разрешено сказать о жертвах "сталинизма" то, чего еще опасались разрешать в годы первой атаки на "культ личности". Но мы узнаем только новые факты, иногда настолько чудовищные, как "поле убийств" в Куропатах, что разум отказывается их принять. Суть системы, открывшей все шлюзы худшим человеческим инстинктам, обнажена в "художественном исследовании" Солженицына. Сливаясь, многочисленные сюжеты, множество жертв и палачей, изображенных великим портретистом, родили книгу, в которой передан опыт страны, опыт народа, опыт века.

Страсть историка, понимание значения прошлого, протест против национализации памяти и повернули внимание писателя к истокам русской революции. Своеволие советской власти вынудило Солженицына выполнить гигантский труд — написать "Красное колесо" — в изгнании. Первый "узел" эпопеи, "повествования в отмеренных сроках", как назвал изобретенный заново жанр — был написан в Советском Союзе. Но Солженицын, оказавшись на чужбине, перерабатывает "Август 14", начинает все сначала. Существует укорененное мнение, что русский писатель должен писать дома. Убеждение это усиленно воспитывается партией: является идеологической азбукой. И это понятно: если все принадлежит власти, т. е. партии, то почему писатель должен ускользнуть, писать там, где ему хочется. Деятельность Солженицына в изгнании была исключительно плодотворной. Можно задать себе

вопрос: смог ли бы он написать "Красное колесо" дома? Под бдительным оком "супервизоров", как любил выражаться И. В. Сталин, преодолевая бесчисленные ряды колючей проволоки, растянутой для охраны архивов. Вскоре выйдут два тома, составляющих четвертый, завершающий "узел". Тогда можно будет начать настоящий разговор о произведении, которому трудно найти подобие в мировой литературе. О Французской революции писали, само собой разумеется, и писатели. История русской революции — хотя ей уже исполнилось 70 лет — еще не написана. Лучше сказать, не написана там, где она прежде всего необходима — на родине революции. Александр Солженицын — писатель и историк — взялся заполнить пробел. Его будут хвалить и ругать, с ним будут спорить и соглашаться. Без "Красного колеса" не сможет обойтись никто, кто захочет говорить о русской революции, об истории России в XX веке.

Возможно, враждебное отношение власти к писателю является одним из элементов его величия. Наверное, не каждый писатель, которого не любит власть, — велик. Почти безошибочно можно утверждать, что, если писатель велик, его не любит власть. А если делает вид, что любит, — значит это великий, но уже умерший писатель. Неожиданным подарком "гласности" было разрешение на публикацию Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Бориса Пастернака. Нерасторопностью издательств хочется объяснить отсутствие "Колымских рассказов" Варлама Шаламова (лишь разрозненные тексты появились в журналах). Александр Солженицын писал об этом в письме съезду писателей: "Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев и Клюев, не избежать

когда-то "признать" и Замятина, и Ремизова". Солженицын добавляет: "Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя..."

Все сбылось, как предвидел автор "Архипелага ГУЛАГ". Разрешили всех тех, кого он перечислил, кто "неотвратимо стоял в череду". Галич писал: "Если зовет своих мертвых Россия, то значит — беда". Не от доброго сердца позвали советские правители мертвых. Но — на живых, на живом Солженицыне споткнулись. Много в свое время спрашивали: где пределы "гласности"? Граница "гласности" начертана сегодня ясно во многих областях. Особенно четко определена она в отношении Александра Солженицына. Он назван — непреодолимой чертой. Очередной "главный идеолог", Владимир Медведев, объявил: Солженицын — враг социализма, "противник нашего строя как такового. Противник Ленина, противник всей нашей идеологии". Ровно 21 год назад, 5 октября 1967 г. тогдашний главный редактор "Правды" Зимянин, т. е. один из "ведущих идеологов" говорил то же самое: "Произведения Солженицына направлены против советского строя. Он выскивает в нем только язвы и раковые опухоли. Ничего положительного в нашем обществе он не замечает". Поскольку нельзя себе представить, чтобы Зимянин угадал, что 21 год спустя будет говорить Медведев, приходится допустить, что Медведев заимствовал все свои "выстрелы" против Солженицына у Зимянина. Даже обвинения в "одобрении" позиции Власова.

Вадима Медведева можно понять. Книги Солженицына, написанные давно и написанные сейчас, активно участвуют в сегодняшних спорах. В них говорится о Бухарине и Троцком, о Ленине и Сталине, о количестве жертв — цене революции, об ответственности палачей и вине жертв, о силе духа и слабости человека. Нельзя

забывать, что великий писатель Солженицын — темпераментный политический публицист, в стране, в которой нет политической жизни. Он слишком велик для эпохи "гласности". Эпоха предпочитает сводить счеты среди своих, среди тех, кто согласен в главном — "больше социализма!", кто спорит о деталях: 10 или 13 миллионов жертв коллективизации, а может быть, даже всего "несколько десятков тысяч", как подсчитал Михаил Горбачев; кто лучше: Сталин или Бухарин; были Троцкий "демоном революции" или было в нем немного и "ангельского", и т. д. и т. д.

Александр Солженицыну в этих спорах места нет. Нет сомнения, что его время придет. Перефразируя неоднократно использованную формулу, можно сказать: Зимянины, Медведевы и тутти кванти приходят и уходят, великие писатели — остаются. Солженицын придет, когда "гласность" поднимется до свободы слова. Придет — и займет место в литературе, принадлежащее ему по праву. По праву — великого писателя.

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ I: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

”Архипелаг ГУЛаг” не похож на другие книги Александра Солженицына с точки зрения формы: писатель всегда стремился ограничить место и время действия. Один день и лагерная зона в ”Иване Денисовиче”, три с половиной дня и территория шарашки в ”В круге первом”, одиннадцать дней и ограниченное пространство Восточной Пруссии для главных сцен ”Августа 14”...

На этот раз место действия — необъятная страна ГУЛаг, которая ”начинается совсем рядом, в двух метрах от нас”, время действия, как точно указано в подзаголовке, — 1918-1956. Но еще и по другой причине непохож ”Архипелаг ГУЛаг” на все то, что было написано А. Солженицыным раньше. ”Один день Ивана Денисовича” писатель назвал ”первым, еще куцом и

приглушенным рассказом о лагере”, предупреждая, что шум, вызванный повестью, ничто по сравнению с тем, что ”будет, когда грянет правда вся”.

”Архипелаг ГУЛаг” — это правда вся. Об Архипелаге и его обитателях, но также о стране, родившей эти чудовищные острова.

Писатель определяет жанр своей книги: ”Опыт художественного исследования”. Он предупреждает: ”Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не довелось читать документов”. Но — это история Архипелага. И жанр книги можно было бы определить, как опыт художественного исследования истории. Солженицын ”не дерзает” писать историю Архипелага, ибо не читал документов, но тут же сам добавляет, что вряд ли кому придется прочесть документы: ”у не желающих вспоминать довольно уже было (и еще будет) времени уничтожить все документы дочи́ста”. Можно задать вопрос: является ли изучение документов (к тому же очень часто подчищенных, сфабрикованных, лживых) обязательным условием писания истории? Смог же написать Фукидид ”Историю Пелопонесской войны” без документов и работы в архивах. Солженицын, работая над историей Архипелага в ”бесписьменные годы”, как он выражается, в ”догутенберговскую эпоху”, как назвала свое время Анна Ахматова, вернулся к технике Фукидида: он использует собственный опыт и свидетельства современников. Одновременно это как нельзя более современная техника социологического опроса: материал для книги дали ему ”в рассказах, воспоминаниях и письмах” 227 человек. Их показания, отражающие опыт представителей всех слоев общества, дополняют все то, что ”шкурой своей, памятью, ухом и глазом” вынес с Архипелага великий писатель.

Александр Солженицын пишет историю Архипелага,

историю его обитателей, историю одного из ее обитателей — свою собственную. Но история Архипелага становится историей государства, ощутившего необходимость в создании лагерной империи, в массовом терроре; история его обитателей становится историей граждан государства, превратившихся в безропотных жертв; наконец, судьба автора становится историей рождения бунтаря, человека, сказавшего "нет", историей рождения писателя, принявшего на себя миссию возвращения народу памяти. Три истории — три главных сюжета книги — идут параллельно, пересекаются, переплетаются, создавая небывалый документ XX века.

В первом томе монументального труда, состоящего из семи частей (опубликовано две части), Александр Солженицын намечает абрис Архипелага на карте страны и рассказывает о том, как попадают на его острова. В советской печати, не прекращающей ожесточеннейших нападок на Солженицына, его книге предъявляются обычно два взаимоисключающих обвинения: в некоторых статьях утверждается, что "Архипелаг ГУЛаг" не содержит ничего, кроме лжи, в других — что книга не содержит ничего нового, все факты давно известны и "осуждены партией". Нет нужды останавливаться на первом утверждении. Во втором утверждении есть несомненно доля истины. Немало фактов об отдельных островах Архипелага известно — на Западе — уже давно. В 1924 г. в Париже выходит книга русского историка П. Мельгунова "Красный террор в России 1917-1923", в которой собран материал о первом пятилетии советской власти, во второй половине 20-х годов появляются воспоминания редких счастливых, сумевших чудом покинуть Архипелаг. Можно назвать здесь, например, книгу финского гражданина Бориса Цедерхольма "В стране НЭПа и ЧЕКа", арестованного в Петрограде в 1924

и до 1926 г. сидевшего на Соловках, — одно из первых свидетельств о Соловцеком концентрационном лагере. В 30-е годы стали известны некоторые новые острова Архипелага (прежде всего Беломорканал), хотя его подлинный размер остается тайной. Первое представление о гигантской лагерной империи дают поляки, оказавшиеся во время войны на территории Советского Союза, брошенные в тюрьмы и лагеря, но выжившие и свидетельствовавшие на Западе о пережитом и увиденном в книге "Темная сторона луны". После войны появляется все больше и больше свидетельств: книги Густава Херлинга-Грудзинского, Александра Вайсберга-Цыбульского, А. Чилиги, Маргарет Бубер-Нейман, Элионор Липперт, Юлия Марголина и многих, многих других... Александр Далин и Борис Николаевский делают первую попытку систематизировать имеющийся на Западе материал о лагерях. И тем не менее, еще в 1950 г. главный редактор парижского коммунистического журнала "Леттр-Франсез" благодарил Советский Союз за "это великолепное предприятие", как он называл лагеря, ибо "в советских лагерях перевоспитанием достигнута полная ликвидация эксплуатации человека человеком".

Т. С. Эллиот в предисловии к "Темной стороне луны" писал: "Это не просто рассказ о том, что случилось с Польшей и бесчисленными поляками между 1939 и 1945 годами... Это также книга об СССР, о Европе, в которой мы сегодня живем, о мире, в котором мы сегодня живем". Эта Европа, этот мир — не верили в существование советских концентрационных лагерей, бывших неотъемлемой частью СССР, Европы и всего мира. Не верили, ибо правда о них казалась слишком чудовищной, размеры лагерей, число заключенных — невероятным.

Не верили, ибо правда о лагерной империи казалась несовместимой с идеалами, провозглашенными "первым в мире социалистическим государством". Не верили первым свидетельствам — начала 20-х годов — ибо это были свидетельства врагов революции, эмигрантов. Не верили свидетельствам 30-х годов — ибо в это время появились и гитлеровские концлагеря, а защитники Советского Союза упорно твердили: тот, кто говорит о Соловках, тем самым одобряет Бухенвальд, только тот имеет право говорить правду о нацистских зверствах, кто молчит о сталинских преступлениях. После окончания второй мировой войны разоблачение советских лагерей истребления отождествлялось с клеветой на доблестного союзника, на победителя Гитлера, на спасителя Европы. В этот период разоблачение советских лагерей объявлялось призывом к новой войне.

Публикация повести "Один день Ивана Денисовича" — отчаянный маневр в сложной политической игре, которую вел Хрущев, — была первым официальным признанием существования в Советском Союзе лагерей. За 6 лет до появления в печати повести Солженицына Хрущев официально признал — на XX съезде в секретном докладе — "имевшие место в 1937-38 гг. нарушения социалистической законности", обвинив в них Сталина, подчеркнув, что жертвами были "партийные и государственные кадры". Солженицын не только рассказал о лагере, он рассказал, что жертвами террора были простые советские граждане, такие как Иван Денисович Шухов — рядовой колхозник, рядовой солдат, рядовой зэк. Противовесом повести Солженицына должны были стать мемуары Б. Дьякова и Григория Шелеста, повесть Андрея Алдан-Семенова "Барельеф на скале", которые подтверждали, что лагеря в Советском Союзе были,

приводили факты, удостоверявшие все, что ранее об этих лагерях писалось, но одновременно старались доказать, что лагеря были случайностью в жизни СССР, плодом фантазии Сталина. Эти книги старались доказать, что подлинные коммунисты, даже после многих лет, проведенных в лагерях, не теряют веры в партию. Главным их пафосом было утверждение: все это позади. Аркадий Васильев, сотрудник НКВД, перешедший в литературу, пишет роман с красноречивым заглавием: "Вопросов больше нет". Разговор был задушен, едва начавшись.

Знаменательно, что разговор о лагерях, право раскрытия тайны лагерей было предоставлено литературе. Историческая наука молчала. Советские историки не написали ни одного исследования о лагерях, о волнах репрессий, не прекращавших потрясать государство, они писали апологии деятельности ВЧК.

Осмыслением истории занялась литература. "Доктор Живаго" Бориса Пастернака был первой книгой советского писателя, задавшего — на 35-ом году революции — вопрос о смысле революции, о ее необходимости, о несходстве образа революции, который виделся русской интеллигенции до катаклизма, с действительностью. Герой романа — врач — дает диагноз болезни века: "революционное помешательство". Он упрекает революцию в том, что она убивает душу человека: "Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно". Глубокий анализ гипнотического воздействия слова "революция" на русскую интеллигенцию дала в своих книгах Надежда Мандельштам. "Это слово, — пишет она, — обладало такой грандиозной властью, что в сущности непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни".

Воспоминания Надежды Мандельштам — история русской интеллигенции в послереволюционную эпоху, история падения, капитулянтства и гибели интеллигенции, поддавшейся соблазну "целостного мировоззрения" и соблазну Великого инквизитора. "Все течет" Василия Гроссмана — размышления об истории России, облеченные в форму романа. Первым из советских писателей анализирует В. Гроссман роль Ленина в судьбе революции и послереволюционного государства, рисуя сложный, порой трагичный портрет: "Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стареньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой... Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции — свободе, и тут же рядом, в груди того же человека, чистый юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой"*.

В Сталине писатель видит продолжателя того, что было в Ленине главным: "Государство без свободы... заложил Ленин. Его построил Сталин".

В поисках причин возникновения "государства не-свободы" В. Гроссман отправляется еще дальше, в глубь российской истории. Там он находит истоки нового государства: "Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских... В то время как развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, развитие России оплодотворялось ростом рабства".

* В романе Евгения Замятина, написанном в 1920 г., глава Единого государства — Благодетель, утверждающий, что "истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременно бесчеловечна, и непременно признак истины — ее жестокость" — "лысый, сократовски-лысый человек", как две капли воды похожий на основателя советского государства.

Роман Пастернака, воспоминания Мандежды Мандельштам, исторические размышления Гроссмана, никогда само собой разумеется, не издававшиеся в Советском Союзе, несмотря на всю их значительность, не давали полного образа послереволюционного общества хотя бы потому, что главным объектом их внимания была интеллигенция.

”Архипелаг ГУЛаг” вбирает в себя все сказанное до него, расширяет, дополняет, углубляет, отвергает или принимает. Выбрав в качестве главной темы, в качестве точки отсчета — лагерь, важнейший симптом смертельной болезни государства и общества, А. Солженицын анализирует поведение больного. Упоминания о лагерях есть в ”Докторе Живаго”, пишет о них Надежда Мандельштам, жена великого поэта, умершего в лагере, герой книги Гроссмана 19 лет провел в лагере. Но у этих писателей лагерь лишь место страданий, мученической смерти. У Солженицына — он порождение системы и основа системы, выражение политической, экономической и общественной невозможности удержать власть без террора и лагерей.

Исторический подход к феномену позволил писателю собрать в единую картину множество разбросанных фактов, сведений, свидетельств. Описав историю Архипелага, Солженицын создал энциклопедию советского общества. Одновременно его книга как нельзя лучше показывает причины фальсификации истории в советском государстве, одним из этапов которой был арест крупнейших русских историков, в том числе Платонова, Бахрушина, Тарле в 1929 г. В романе Евгения Замятина ”Мы” граждан Единого государства, чтобы окончательно и навсегда убить в них желание свободы, подвергают операции выжигания в мозгу узелка, рождающего фантазию. В советском Едином государстве выжиганию

подверглась память. "Мы все забываем, — пишет Солженицын. — Мы помним не быль, не историю, — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить неустанным долблением. Обидное это свойство... Оно отдаёт нас добычей лжецам". В 1962 году на совещании советских историков в первый и последний раз было признано самими историками, что они профессиональные лгуны. А. Снегов, член партии с 1917 г., проведший многие годы в лагере, предложил даже установить для историков нечто вроде клятвы Гиппократова для медиков, потребовать от докторов истории обещание писать честно*.

Солженицын не претендует на написание истории советского государства, он пишет историю советского закона, посвящая ей три главы: "Закон-ребенок", "Закон мужает", "Закон созрел". В начале — как давно известно — было слово. Солженицын ведёт начало со слов Ленина, провозгласившего в январе 1918 г. общую единую цель: очистить "землю российскую от всяких вредных насекомых". Упоминания о жестокости революционных средств и мер можно найти сегодня и у советских историков. В исследовании С. Федюкина "Октябрь и интеллигенция" (Москва, 1972) приводится письмо управляющего делами Совнаркома В. Бонч-Бруевича наркомпросу А. Луначарскому: "Препровождаю

* А. Снегов, видимо, не знал, что советские врачи дают не клятву Гиппократова, а "торжественно клянутся продолжать великие традиции медицины, руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании врача перед советским государством". Такую клятву советские историки могут, конечно, дать.

при сем заявление гр. Давыдовых по поводу их отца, который был взят в качестве заложника. Давыдов — известный геодезист: он был расстрелян в числе 900 человек после смерти Урицкого. Никакого обвинения ему предъявлено не было. За две недели до своего ареста он был вызван в Петроград на службу. Дети его просят рассмотреть их прошение и дать им возможность и их больной матери как-нибудь прожить”. Советский исследователь считает расстрел 900 заложников ”несоответствием меры вины и меры наказания”, хотя непонятно о какой вине геодезиста Давыдова можно в данном случае говорить. Он считает эти ”несоответствия” оправданными революционной необходимостью, гражданской войной, враждебным окружением и т. д. Солженицын видит в этой жестокости, в этом бесчеловечном терроре, начавшемся с первых дней революции, свидетельство антинародности революции, ее внутренней слабости, ее ненужности. ”Еще и до всякой гражданской войны, — пишет Солженицын, — увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена”. Следовательно, необходимо было ”очистить” Россию, чтобы сделать ее достойной социализма, в который намеревались идти — пусть даже против воли большинства — победители. Но если против воли большинства, если вся страна ”загажена”, если необходимо очищать Россию ”от насекомых”, то естественно приходится прибегать к массовому, всеохватывающему террору. Писатель часто прибегает к сравнению условий жизни в дореволюционном и послереволюционном государствах. И как правило сравнения эти выпадают не в пользу государства послереволюционного. Но отнюдь не потому, что А. Солженицын — апологет царской России. Он отлично

видит пороки русского дореволюционного государства. Но он показывает, что все эти пороки многократно увеличились в послереволюционном государстве, а ужасная царская каторга вызывает улыбку снисходительного недоумения у тех, кто побывал на советской каторге. На Колыме читают о каторжных нормах декабристов, как рассказы о райской жизни, во владимирском центре мечтают об условиях жизни шлиссельбургских узников. Солженицын настаивает на сравнениях с дореволюционной Россией и по другой причине: при каждом удобном случае он подчеркивает, что советские граждане не знают правды о своем прошлом. "Первое, что мы изумленно узнаем, — пишет Солженицын об обвиняемых по делу "Промпартии" инженерах, — что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь — из бедных семей.. (Как же так? А нам говорили, что при царизме.. только дети помещиков и капиталистов?.. Календари же не могут врать?..)". Могут — утверждает Солженицын. "Все врут календари", — может повторить он вслед за героем "Горя от ума".

Александр Солженицын представляет историю советского государства как историю советского закона, показывая, как этот закон с первых же дней революции стремился стать беззаконием. В начале 1918 г., когда приговорен был к расстрелу адмирал Алексей Щастный, суду намекнули, что есть декрет об отмене смертной казни, прокурор Крыленко разъяснил: "Отменена — смертная казнь. А Щастного мы не казним — расстреливаем".

Анализируя историю "мужания" закона, который становится все более жестоким, коварным, бесстыдным и хитрым, все более беззаконным, писатель использует стенограммы некоторых открытых процессов, опускаясь, как по ступенькам, от процесса к процессу — вниз, от

еще по-детски наивных по юридической беспомощности первых процессов, к более зрелым опытам начала 30-х годов, до мрачно-торжественных театральных зрелищ 37-38 годов. Солженицын очень точно понял значение судебных процессов, как важнейшего измерительного прибора, регистрирующего уровень напряженности террора в стране. Подтверждает это ставшее известным лишь десять лет назад письмо Ленина. 20 февраля 1922 г. Ленин требует: "Усиление репрессии против политических врагов Соввласти и агентов буржуазии (в особенности меньшевиков и эсеров)... обязательная постановка ряда образцовых (по быстроте и силе репрессий; по разъяснению народным массам, через суд и печать значении их) процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах... Отсюда... применять не *Cogrus juris romanі* к "гражданским правоотношениям", а наше революционное правосознание; показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцовых процессов, как это надо делать с умом и энергией..." (Полное собр. соч., т. 44, стр. 396-400). Ленин настаивает на превращении "образцовых" процессов в школу страха, в инструмент воспитания народа, в способ его "очищения". Видимо, не совсем уверен Владимир Ильич Ленин, юрист по образованию, что его концепция замены римского права "революционным правосознанием" достойна широкого распространения, ибо в двух постскриптумах к письму он настаивает на сохранении в тайне и самого письма и имени его автора. Солженицын показывает, как организуются эти "образцовые" процессы, как с каждым годом все лучше и лучше обрабатываются обвиняемые, как растет умение следователей и прокуроров составлять заведомо ложные обвинения, как воспитывается автоматическое одобрение любых приговоров.

Основным источником для анализа процессов служат Солженицыну речи прокурора Крыленко и прокурора Вышинского. Стоит отметить великолепное мастерство, с каким писатель использует этот односторонний материал, находя в нем детали времени, портреты обвиняемых, судей и — прежде всего — главную политическую линию, направленную на превращение закона в дубинку государственной власти. "Несколько веков, — пишет Солженицын, — была у нас пословица: не бойся закона — бойся судьи.. Пора эту пословицу вывернуть: не бойся судьи — бойся закона". Когда воцаряется беззаконие, когда беззаконие становится законом — островки ГУЛага сливаются в Архипелаг.

История этого процесса — первая сюжетная линия книги Александра Солженицына. Вторая — "перевоспитание" человека, превращение жителей страны в обитателей и потенциальных обитателей Архипелага. Писатель внимательно прослеживает метаморфозу, происходящую с людьми, и средства, используемые для ускорения процесса. Он констатирует результат: мы — кролики, мы — овцы, "мы утратили меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается". Он говорит о "нашей привычке к покорности, нашей согнутой (или сломленной) спине"... И мечтает: ведь могло бы быть иначе. "Если бы во времени массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди не сидели бы по своим норам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах по лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, с чем придется?.. И несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина". Если бы каждый арестованный, которого вели по улице, кричал бы, что "переодетые злодеи ловят

людей! Что хватают по ложным доносам! Что идет глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики, много раз в день оцетинились бы? может аресты не стали бы так легки!?" "Если бы в каждой камере смертники дружно душили проходящих палачей... Уж на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?"

Но сопротивления не было. Ибо было уже поздно. Писатель намечает этапы превращения общества в покорное стадо, ожидающее уничтожения. "Упущено время, господа, товарищи и братцы!" — горестно констатирует Солженицын. Его вывод: всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. "Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка!.. Других сажают повально, это тоже нелепо, но там еще в каждом случае остаются потемки: "А может быть этот как раз?.." "Очищение" России — показывает Солженицын — проходило постепенно: один вид "насекомых" за другим, один поток за другим гнали "по сточным трубам тюремной канализации". Но пока уничтожали одних — другие молчали убежденные, что их это не коснется. Происходила атомизация общества в значительной мере облегчавшая дело властей. Страх становится главным стимулом поведения человека. Но мало было напугать людей, оставить их в одиночку с государственным чудовищем, вынудить их согласиться с арестом всех вокруг. Следующим этапом на пути к созданию "нового человека" было, по выражению Солженицына, пассивное "всенародное участие в канализации". На этом этапе согласие на террор оказалось уже недостаточным, потребовалось активное его одобрение: "те, кто своими телами еще не грохнулись в канализационные люки, кого еще не понесли трубы на Архипелаг — те должны ходить по-

верху со знаменами, славить суды и радоваться судебным расправам". Солженицын отмечает важнейший феномен советского общества: связь между палачом и жертвой, в некоторых случаях свободную взаимозаменяемость местами. Сегодняшний палач становился завтрашней жертвой, а вчерашняя жертва готова была по первому же слову превратиться в палача. Всеобщая невинность и всеобщая неуверенность способствовали возникновению этой взаимосвязи, которая усиленно культивируется властью, ибо способствует растлению душ — будущих палачей и будущих жертв. В 1922 г. на процессе эсеров прокурор Крыленко "находит ту сердечно-сострадательную, обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать все увереннее и гуще, и которая в 37-м году даст ошеломляющий успех. Нота эта — найти единство между судьящими и судимыми — и против всего остального мира... С обвинительной кафедры эсерам говорят: ведь мы же с вами — революционеры! (Мы! Вы и Мы — это мы!)" А Борису Савинкову будут говорить: "Ведь мы же с вами — русские!.. вы и мы — это мы!" А оппозиционерам опять то же самое, но в ином варианте: "ведь мы же с вами — коммунисты! Ведь вы и мы вместе — это мы!"

Именно в этом постепенном растлении будущих жертв путем привлечения их к участию или — всего лишь! — одобрению преступлений видит Солженицын разгадку "тайны" процессов старых большевиков (он прибавляет при этом, что согласен с догадкой Артура Кестлера). Великолепно написанные портреты двух звезд двух громких политических процессов иллюстрируют мысль писателя. Михаил Якубович — один из главных обвиняемых на процессе т. н. Союзного бюро меньшевиков, чудом выживший после многих лет лагерного заключения, раскрыл Солженицыну механизм организации

”дела”: ”редчайший случай получить как бы ”посмертно” объяснение участника такого процесса. И я нахожу, — добавляет Солженицын, — что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объяснили нам Бухарин или Рыков”. Честный, искренний, бескорыстно преданный революции, верно служивший советской власти М. Якубович был арестован в 1930 г. и, вызванный на допрос к своему хорошему знакомому прокурору Крыленко, услышал от него: ”Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс... Прошу вас всячески помогать, идя навстречу следствию”. И Якубович ”сам спешит сунуть голову в хомут”, он рьяно, усердно помогает ”провести процесс”. Второй портрет — Бухарина, того, ”кто представляется из дали времен самым высоким и самым светлым умом из опозоренных и расстрелянных вождей”. С замечательной пронизательностью показывает Солженицын, как перебрасывая надежды к отчаянию и обратно, ”из ледка в жарок”, Сталин доканчивает разрушение души Бухарина, который в свое время добивался казни инженеров, осужденных по Шахтинскому делу, который допускал возможность вины Зиновьева и Каменева.

Была еще одна причина признаний, согласия сотрудничать с палачами — пытки. Глава, посвященная пыткам, описанию 52 видов ”физического давления с целью получения признания”, кажется переписанной из ”Руководства инквизитора”, составленного в XIV веке Николау Эймерихом: та же бесчеловечность и жестокость, то же отсутствие технических средств. Пытки доламывали уже готовых сознаться. Но будучи неким ритуальным актом, они применялись и к готовым на сотрудничество, например, к Якубовичу.

Есть и третья причина того, что сознаются невинные

люди в несовершенных преступлениях: отсутствие у них "нравственной опоры". Анализируя причины слабости и отступничества, согласия на сотрудничество с палачами, Александр Солженицын замечает, что подобные случаи русская история уже знает. "Русская история, — пишет он, — не дала нам лучшие примеры твердости... В коротком двухнедельном следствии Радищев, этот выдающийся человек, отрекся от убеждений своих, от книги — и просил пощады... Даже Рылеев "отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая... Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей (еще вольных)... Бакунин в "Исповеди" униженно самооплевывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни". Писатель спрашивает: что это — "ничтожность духа? Или революционная хитрость?" Одно из объяснений Солженицына: русских революционеров XIX в. — Радищева, декабристов, Бакунина — "допрашивают сословные братья. И естественно их желание все объяснить". Это отчасти ситуация Бухарина. Но главное для Солженицына не в этом. Он хочет дать объяснение "высокое, психологическое". И объяснение это входит как важный элемент в философию и историософию писателя. Революция, — считает он, — не дает человеку достаточной нравственной опоры, не дает ему необходимой веры для сопротивления злу, не дает сил, нужных для того, чтобы в нужную минуту отказаться от жизни, но остаться человеком.

"Архипелаг ГУЛаг" — история поисков Человека, ответ на вопрос: можно ли было остаться Человеком на Архипелаге и в обществе, его породившем? Множество людей населяет книгу Солженицына: одних он только упоминает, других рисует двумя, тремя мазками мастерской кисти, третьих описывает подробно: с отвращением, любопытством или любовью. Но каждого

проверяет писатель прежде всего на сопротивляемость души силам Зла. Немногие выдерживают эту проверку. Моральный кодекс Солженицына элементарно прост, но для его соблюдения на Архипелаге нужны силы, какие находят в себе лишь одиночки. Вот они-то и составляют ту категорию праведников, о которых, в заключение "Матрениного двора", писал Солженицын, что без них "не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша".

Моральный кодекс Солженицына прост: считать справедливость, правду дороже имущества, дороже жизни. Когда человек перестает дорожить земными вещами и жизнью — он обретает внутреннюю свободу, а вместе с ней силу, побеждающую Зло.

В галерее победителей — патриарх Тихон, восхищающий писателя своими мужественными ответами суду. "Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет? — спрашивает председатель суда. И патриарх отвечает: — Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия". Писатель комментирует: "Все бы так отвечали! Другая была бы наша история!" В галерее победителей — русские инженеры Петр Пальчинский, Н. фон-Мекк, А. Величко, отказавшиеся подписать ложные обвинения. "В пытках ли они погибли или расстреляны, — этого мы пока не знаем, но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять"... Александр Солженицын — верующий христианин, поэтому понятно, что его поиски праведников направлены в сторону духовенства. Александр Солженицын убежден, что инженерам предстоит сыграть провиденциальную роль в будущем России, поэтому он обращается к судьбам инженеров. Но самое большое восхищение писателя вызывает жизнь провинциального кооператора, члена партии Василия Власова, "человека со случайным клочным образованием, но тех самобыт-

ных способностей, которые так удивляют в русских, красноречивый, находчивый в диспутах, запалющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным...” Его поведение до ареста и после ареста противопоставляет Солженицын трусливому, жалкому поведению партийных вождей. Василий Власов — член партии, был убежден, что она служит народу. Во время открытого процесса он, может быть, единственный в Советском Союзе в 1937 г., заявил: ”Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД”. Приговоренный к расстрелу, он отказался просить помилования, а когда после 42 дней содержания в камере смертников ему объявили о замене расстрела 20 годами заключения в лагере, он ответил: ”Странно. Меня судили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин — верит, если думает, что еще и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря?..” Солженицын помещает в своей книге шесть портретов жертв Архипелага — и один портрет выжившего, выстоявшего — фотографию Василия Власова. Рассказ о его судьбе заканчивается коротеньким примечанием о восьмилетней дочери Власова — Зое, ”взахлеб любившей отца... Она прожила после суда всего один год... Умерла от воспаления мозговой оболочки, и при смерти все кричала: ”Где мой папа? Дайте мне папу!” Эти строки Солженицына неудержимо приводят на память самый важный в русской литературе вопрос: ”Представь, что ты возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей... но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, ребеночка... и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором?..” Как бы

отвечая на этот вопрос Достоевского, Солженицын рассказывает историю Зои Власовой, добавляя: "Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два, на три..."

Невелик круг праведников, людей, сумевших выстоять, защитить свое человеческое достоинство. Не велик — ибо чудовищны мучения, которым подвергается человек на Архипелаге. Но в этих мучениях, в страданиях Солженицын видит — испытание человеческого духа, необходимое для его очищения и укрепления. Пожалуй, нигде не проявляется с такой силой христианство Солженицына, как в этой проповеди испытания духа страданием. Как всегда, в "Архипелаге ГУЛаг" он соединяет судьбу человека с судьбой народа, историю с индивидуумом: "Простая истина, но и ее надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы — и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно".

Вывод Солженицына можно было бы сформулировать так: в принципиально неморальном обществе, возникшем в результате нарушения нормального хода истории, породившим Архипелаг ГУЛаг — только страдание позволяет возвыситься духовно, понять необходимость морали.

Третий сюжет "Архипелага ГУЛага" — судьба его автора, путь, пройденный Солженицыным. С откровенностью, присущей, быть может, только героям Достоевского, рассказывает писатель о себе. Он тоже сын своей страны — и он вырос в атмосфере "всемирного одобрения судебных расправ над "врагами", и он вды-

хал воздух революционных лозунгов и мифов, в армии, когда вручили ему золотые офицерские погоны, он почувствовал себя выше и лучше рядовых солдат, отравила его "золотая пыль погон". Лишь непонятное ему самому таинственное движение души заставило юного Александра Солженицына отказаться от предложения пойти в школу НКВД, куда направлял его комсомол. Упрекая миллионы арестованных в молчании, он не оправдывает и себя. И он "много раз имел возможность кричать", но молчал. И в тюрьме еще, уже после ареста, продолжает Солженицын пламенно защищать марксизм, убежденный, что Сталин "исказил" Ленина. Постепенно — через страдания и будучи свидетелем чужих страданий — приходит он к своим новым убеждениям, к правде об обществе, в котором он живет, к вере, что на него возложена миссия сказать эту правду, крикнуть ее на весь мир.

Оригинальность Солженицына, как историка — в его мучительно-страстном отношении к объекту книги. Это не удивительно, если помнить, что объект этот — жизнь его народа и его собственная жизнь. О всех бесчисленных "потоках" арестованных, сброшенных в канализацию ГУЛага, писатель говорит с нескрываемой болью и горечью — это жизнь народа, это смерть народа. Сдержанность историка оставляет Солженицына при фактах жестокости, которые выделяются даже на Архипелаге, и он пишет, например, приводя случай расстрела шести колхозников за то, что они — после колхозного покоса — прошли по лугу еще раз, чтобы накосить чуть сена для своих коров: "Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования". И тут же напоминает себе: "однако вернемся к бесстрастию и беспристрастию".

Бесстрастие покидает его, когда говорит он о "потоке" русских военнопленных: "История нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана". Это — жизнь писателя, с этими военнопленными он встретился в тюрьмах и лагерях, с некоторыми из них — он воевал вместе. Если нужно было бы выделить одну — лучшую — главу книги, написанную с особой страстью, с особым волнением и состраданием — следовало бы, мне думается, выбрать главу "Та весна". Это глава — о победной весне 45 года, которая была "в наших тюрьмах" весной русских пленников. Лился по камерам "поток всех, побывавших в Европе: и эмигранты гражданской войны; и оловцы новой германской; и офицеры Красной армии, слишком резкие и далекие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но все-таки больше всех было моих ровесников, не моих даже, а ровесников Октября — тех, кто вместе с Октябрем родился".

Эти "ровесники Октября" и ровесники писателя (Солженицын родился в 1918 г.) были ему особенно близки и понятны. Но не только этим пронзила его навсегда их история. В судьбе русских пленников раскрылась Солженицыну до конца бесчеловечность, неблагодарность и жестокость советского государства. Миллионы советских солдат оказались в плену у немцев — все они были объявлены изменниками родины, после возвращения домой — все они были посланы в советские лагеря. "Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не дает... Их хотели объявить изменниками Родины, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как "изменники Родины". Солженицын пишет: "Не они, несчастные, изменили Родине, но расчетливая

Родина изменила им...". Писатель обращается к истории своей страны: "Сколько войн вела Россия... и много ли мы изменников знали во всех тех войнах?.. Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг миллионы изменников из самого народа. Как это понять? Чем объяснить?" И объясняет: "Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этим всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь..." Солженицын делает вывод, что Сталин посадил миллионы бывших пленных в целях превентивных, дабы сохранить существовавший до войны "занавес", отделявший страну советов от остального мира. Он приходит к выводу: "А может быть, дело все-таки в государственном строе?.."

И этот вывод — один из важнейших в книге: Родину и государственный строй нельзя отождествлять — он доказывает еще раз, говоря о судьбе тех, кого, как он признает, "можно судить за измену", — о судьбе власовцев.

Солженицын знает, что рассказ о власовцах будет самым взрывным в книге, что он вызовет особую злобу у противников писателя: "Слово "власовец" у нас звучит подобно слову "нечистоты"... Но так не пишется история. Сейчас, четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях... я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет подняли оружие на свое Отечество в союзе со злейшим его врагом". Кто больше виноват: эта молодежь или седое Отечество? Вопрос, который ставит Солженицын, можно сформулировать и по-другому: имеет ли государство

только права по отношению к своим гражданам, есть ли у государства обязанности?

Писатель не оправдывает "власовцев", он с беспристрастием историка склоняется над причинами, побудившими их одеть немецкий мундир. Одни записывались в антисоветские формирования, "чтоб только вырваться из смертного лагеря. Другие — в расчете перейти к партизанам (и переходили! и воевали потом за партизан — но по сталинской мерке это несколько не смягчало их приговора)". Но была и третья категория: "В ком-то же и занял позорный сорок первый год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвастовства; и кто-то же счел первым виновником вот этих нечеловеческих лагерей Сталина. И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своем грозном опыте: что они тоже частицы России и хотят влиять на ее будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок".

Писатель делает вывод: государство, отнявшее у человека всякую возможность влиять на судьбу страны, всякую возможность выбора, сделавшее его "игрушкой чужих ошибок", несет главную вину за то, что сотни тысяч молодых людей подняли оружие против своей родины, за то, что они сделали единственный открывшийся им — страшный, смертельный — выбор.

"Где начинается родина?" — спрашивает популярная советская песня. Александр Солженицын как бы спрашивает: где кончается родина? Он приводит слова старого русского художника, сидящего в немецком лагере и раздумывающего о родине, отказавшейся от своих: "Как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже — бросила собакам? — Разве она остается нам матерью? Если жена пошла по притонам — разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, — разве это Родина?"

Как бы замыкается круг, начатый в январе 1918 г. словами Ленина о необходимости очистки России от насекомых, продолженный десятилетиями непрерывной чистки, созданием Архипелага, ставшего фундаментом государства. Отказ Родины от своих солдат, измена Родины им — логическое завершение процесса, первым этапом которого было отождествление Родины с революцией, а следующими — ее отождествление с государством, с единоличной властью тирана, с насилием.

Александр Солженицын нарушает самое запретное из табу, сковывающее сознание советских граждан. Но именно это дает ему внутреннее духовное освобождение. "Я межзвездный скиталец, — говорит он о себе, вспоминая узника из романа Джека Лондона. — Тело мое спеленали, но душа — не подвластна им". В тюрьме находит он освобождение: "Не здесь ли в тюремных камерах и обретает великая истина? Тесна камера, но не еще ли теснее воля?" В неволе приходит он к "великой истине": истина познается в страданиях. Он приходит к подлинному соединению с народом: "Не народ ли нащ, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?" И на последних страницах первого тома "Архипелага ГУЛага" находит Солженицын героя, которого он искал. Он находит его — неожиданно для себя — в стихах Пастернака, которого раньше не любил, "считал манерным, заумным, очень уж далеким от простых человеческих путей". Услышав последнюю речь Шмидта на суде (поэма Б. Пастернака "Лейтенант Шмидт"), был Солженицын "пронят", ибо она как нельзя лучше отвечала его чувствам и мыслям. Лейтенант Шмидт — организатор восстания моряков крейсера "Очаков" в ноябре 1905 г. — произносит перед смертью слова, к которым хочет присоединиться Солжени-

цын: Я тридцать лет вынашивал / Любовь к родному краю, / И снисхожденья вашего / Не жду и не теряю!

Лейтенант Шмидт, выступивший против правительства, которое он считал антинародным, представляется Солженицыну образцом патриота: Не встать со всею родиной / Мне было б тяжелее, / И о дороге пройденной / Теперь не сожалею.

Можно думать, что еще больше двух процитированных в книге строф из "Лейтенанта Шмидта", поразила писателя строфа, в которой мятежник говорит о своем предназначении:

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого,
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Александр Солженицын принял свое предназначение, свою миссию: вернуть народу память, сказать правду о прошлом, стать свидетелем и историком эпохи хаоса. "Следует верить только тем свидетелям, которые дают себе перерезать горло", — писал Паскаль. Солженицын был готов к этому.

Январь 1974

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ II: ВОСКРЕШЕНИЕ ДУХА

На последних страницах первого тома "Архипелага ГУЛаг" Александр Солженицын предупреждал: "И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше — ложная надежда. В лагере будет — хуже". Второй том — книга о лагере. Об отдельных лагерях: 121 лагпункте в Москве, где работал зэка Солженицын, самом знаменитом из лагерей 20-х годов — Соловках, детище первой пятилетке — Беломорканале, лагере смерти Оротукане и многих, многих других. Вместе с тем — это книга о всех лагерях, о Советском Лагере, где царят невыносимо-тяжелый труд, смертельный голод, произвол начальства и смерть. Официальное название — "исправительно-трудовые лагеря" — писатель переводит на язык правды: истребительно-трудовые.

Второй том "Архипелага ГУЛаг" продолжает начатый в первом томе рассказ о нисхождении — по бесчисленным кругам — на дно ада. Но в то же время второй том — новая, другая книга. Характернейшая черта первого тома — ожидание, напряженный страх перед непонятным и неминуемым арестом, надежда, что минет чаша сия. Первый том пронизан этой атмосферой ужаса перед сближающейся катастрофой и безумным упованием, что она обойдет стороной. Шок, вызванный арестом, допросами, пытками, приговором, не дает возможности до конца осознать происшедшее. Атмосфера второго тома иная — кончилось ожидание: теперь можно ждать лишь смерти, ибо освобождение кажется миражом. Начинается нормальная лагерная жизнь: изнурительная работа и голод. По сравнению с лагерем тюрьма начинает казаться счастьем: "Тюрьмы — крылья. Тюрьмы — коробки мыслей. Голодать и спорить в тюрьме — весело и легко". Трагичность второго тома определяется атмосферой ежедневного выбора, который должны делать заключенные: жизнь или смерть. Ежедневного колебания: какую цену заплатить за сохранение жизни?

Втором том — это прежде всего физиология советской каторги: труд, еда, наказания, отношения между заключенными, отношения с охраной. Писатель делит обитателей по разным признакам, посвящая отдельные главы женщинам в лагере, детям в лагере (начиная с 7 апреля 1935 г. "все меры наказания", т. е. включая "высшую меру", применяются, начиная с 12-летнего возраста). Солженицын делит заключенных в зависимости от статьи, по которой они осуждены: политические, уголовники; в зависимости от положения, которое они занимают в лагере: придурки или работяги; в зависимости от отношения к аресту и лагерю: те, кто признает необходимость и справедливость осуждения

всех, кроме себя, те, кто фаталистически принимает случившееся, и те, кто отказывается смириться с несправедливостью. Социология занимает во втором томе — в отличие от первого — больше места, чем история. Солженицын обращается здесь к истории для того, чтобы понятнее стал характер советского Лагерь. Он пишет о Беломорканале: "Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку XX века... несправедливо было бы сравнивать ее с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники!! А у нас была техника — на сорок веков назад!" Сравнивает писатель труд советских заключенных с трудом русских крепостных и находит, что хотя есть сходство, различий больше: "Но вот удивительно: все различия — к выгоде крепостного права, все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛага!" Не умирали крепостные с голоду, в праздники они не работали, жили в постоянных избах, имели свое имущество, семьи. Сравнивает писатель царскую каторгу и советские "истребительно-трудовые". И опять — все различия — к невыгоде Архипелага: "На Акатуйской лютой каторге рабочие уроки были легко выполнимы для всех... Их летний рабочий день составлял с ходьбою вместе — 8 часов, с октября — семь, а зимой — только шесть... Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит читатель". Солженицын приводит свидетельство Варлама Шаламова, который вспоминает, что декабристам в Нерчинске был урок добыть в день и нагрузить три пуда руды на человека (сорок восемь килограммов!), Шаламову же на Колыме — восемьсот пудов.

Но — египетские пирамиды, Нерчинские рудники, крепостное право и Акатуй — далекое прошлое. Напрашивается сравнение с близким прошлым — с гитлеровскими

лагерями. Совсем недавно, в сентябре 1971 г., некий меся Дюпон писал в бельгийской газете "Журналь де комбатан": "Нельзя сравнивать немецких концентрационных лагерей с советскими кооперативными лагерями". После описания Солженицыным лагпунктов истребления — Оротукан, Старый кирпичный завод, Адак, где казнили, закапывая в землю живьем, потому, что "обращаться с живыми — перетаскивать, поднимать — гораздо легче, чем с мертвыми" — трудно будет говорить о советских "кооперативных" лагерях (можно, правда, — о "кооперации" пули с затылком). Но Солженицын не ограничивается восстановлением памяти, припоминанием фактов массового истребления заключенных в тех или других лагерях (а ведь даже в "Архипелаге ГУЛаг" нет ничего о тех лагерях, где никто не остался в живых), он показывает, что истребление было — как и в гитлеровских лагерях — одной из задач Архипелага. А на главный аргумент в пользу советских лагерей: там не было газовых печей — писатель отвечает раз и навсегда: "На газовые камеры у нас газа не было". Не было Освенцима с газовыми печами. Был — полярный Освенцим. Был Беломорканал: "После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запарашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замерз. Кто-то застыл с головой вобранной в колени. Там замерзли двое, прислонясь друг к другу спинами... Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком. А летом от неприбранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там", — так рассказывает о первой великой стройке коммунизма узник Соловков и Беломора Д. П. Витковский,

неопубликованные воспоминания которого цитирует Солженицын.

Если бы автор "Архипелага ГУЛаг" ограничился только описанием советской пенитенциарной системы, только восстановлением памяти — правдивым рассказом о тюрьмах и лагерях — книга его навсегда осталась бы в литературе примером великого мужества и свидетельством, обвинением бесчеловечному режиму. Александр Солженицын идет, однако, гораздо дальше. Архипелаг ГУЛаг — это советское государство в его откровенном, химически чистом виде, его эссенция. Лагерь — это модель общества, модель, очищенная от всего излишнего, с которой соскребана мишура идеологии, лозунгов, обмана. Книга Солженицына — история разложения общества, его деморализации, история создания государства, в котором аморальность стала главной движущей силой.

Важнейшим инструментом разложения общества стал принудительный труд. Было искажено само понятие труда, превратившегося в наказание, опоганенного. Теоретическое обоснование этому видит Солженицын в писаниях Энгельса, утверждавшего, что "не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления — а со случайного и бессмысленного труда". Замечено это очень тонко. Стоит, однако, добавить, что необходимость использования теоретических открытий Энгельса становится очевидной для руководителей большевистской партии после прихода к власти. Еще в январе 1914 Ленин заявляет: "Мы не хотим одного: элемента принудительности. Мы не хотим загонять в рай дубиной". Но уже в апреле 1918 г. председатель Совета народных комиссаров требует применения принудительного труда к рабочим. Главный теоретик партии, ее "любимец" Н. Бухарин настаивает: "Одной из

главных принудительных мер нового типа, действующих в сфере самого рабочего класса, является уничтожение так называемой "свободы труда". Чеканную формулу "принудительных мер нового типа" дает не претендовавший на литературные таланты Феликс Дзержинский. Выступая 17 февраля 1919 г. на заседании ВЦИК (стенограмма была опубликована только в 1958 г.), председатель ВЧК заявил: концлагерь — школа труда (одновременно он потребовал для ВЧК "права заключения в концентрационный лагерь").

Рождение формулы: концлагерь — школа труда не только свидетельствовало о полном крахе надежд на добровольную поддержку рабочим классом Октябрьского переворота, оно свидетельствовало, что партия, захватившая власть, решила дубинкой загонять в рай.

В забытом романе забытого писателя А. Аросева, активного участника революции, близко знавшего Ленина, сошедший с ума в конце 20-х годов коммунист выписывает сам себе мандат: "Дан сей представителю сего на право истребления всех тех людей, кои по физическим, психическим, социальным, моральным или каким-либо другим признакам вызовут в предъявителе сего чувство дезакорда с идеалом человеческого счастья... Виноват, — спросил сыщик, у которого изо рта пахло перегаром: — а от какого учреждения этот мандат? — От секретного! — ответил обладатель мандата".

"Секретное учреждение" принялось истреблять всех тех, кто вызывал "чувство дезакорда с идеалом человеческого счастья", а у остальных обитателей государства стало воспитывать убеждение, что выполнение трудовой нормы есть главная, единственная мораль советского гражданина. Внедренная в лагере мораль эта распространяется на всю страну. Наиболее четкое выражение дает ей "изобретатель лагерей"

Нафталий Френкель, портрет которого занимает видное место в богатейшей портретной галерее "Архипелага ГУЛаг". Лагеря, — пишет Солженицын, — "были и до Френкеля, но не приняли еще той окончательной и единой формы, отдающей совершенством". Идея была проста: отказаться от буржуазной традиции, требовавшей кормить заключенного только потому, что он человек и ему надо есть. Оказавшись в 1927 г. на Соловках, Френкель разрабатывает свой проект использования труда заключенных. В 1929 г. "за Френкелем прилетает из Москвы самолет и увозит на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных (и лучший друг чекистов) с интересом беседует с Френкелем три часа". Солженицын отказывается здесь от бесстрастности и скептицизма историка, присваивая права романиста. Он утверждает: "Именно Френкель и очевидно именно в этой беседе предлагает всеохватывающую систему лагерного учета". Писатель настаивает: "Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестанта..." Поскольку стенограмма беседы Сталина с Френкелем не опубликована, можно было бы подвергнуть сомнению непоколебимую уверенность автора "Архипелага" в том, что "именно" Френкель и "именно в эту беседу" запатентовал дьявольскую идею оплаты рабского труда заключенных едой, буквального применения в лагерях принципа: кто не работает, тот не ест.

Настойчивое желание писателя назвать автора и день утверждения "изобретения" в качестве закона связано, думается, не только со стремлением персонифицировать зло, но и с желанием связать два его наиболее кошмарных воплощения: Сталина и Френкеля. Карьера Френкеля — турецкого еврея, заработавшего до первой мировой войны на юге России миллионы торговлей ле-

сом, вывезшего накануне революции капиталы в Турцию, вернувшегося в СССР в годы НЭПа, сотрудничавшего с ОГПУ, арестованного, ставшего генералом НКВД – не напоминает ли она своими взлетами, своей чернотой биографии Сталина? Есть удивительное сходство и в характере двух злодеев. Это о Френкеле пишет один из авторов "Беломорканала": "Он считает, что главное для начальника – это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись, – пусть боятся. Если нужно, чтобы не любили, – пусть не любят. Но воля подчиненных должна быть целиком в воле начальника". Приводя в сокращении эту цитату, Солженицын дополняет ее еще одной фразой, которая кажется ему "ключевой" – и к характеру, и к биографии Френкеля: "Жестко разговаривал с инженерами, стараясь унижить их". Возможно, что здесь психологический ключ к душе сталинского двойника. Но быть может, еще важнее вывод, который делает советский биограф главного надсмотрщика Беломорканала: "Всем своим успехом Френкель обязан той системе, в которой он оказался" (Беломорско-балтийский канал им. Сталина. История строительства. М., 1934, стр. 219). Френкель обязан всеми своими успехами системе ОГПУ, системе ГУЛага, советской системе. Не этой ли системе обязан своими успехами Сталин, один из главных ее творцов?

Формула "концлагерь – школа труда", варьируется, слегка видоизменяется, сохраняя полностью свою суть. Эволюция лозунгов, украшавших лагерные ворота, приветствовавших новое пополнение, отражает изменение отношения не столько к труду в лагере, сколько отношения к нему начальства, все более откровенно выражавшего характер "истребительно-трудовых". Первых узников Соловков встречали слова: "Мы путь

земле укажем новый, Владыкой мира будет труд". На Беломорканале заключенных поощряли лозунгом: "Ударный труд — путь к досрочному освобождению" (видимо, потом был сделан перевод на немецкий: "Арбейт махт фрей"). А после войны в страшных лагерях на Инте культурно-воспитательная часть агитировала эков: "Работайте хорошо — и вас похоронят в деревянном гробу".

Труд, труд, труд... Весь народ поет: "Нам песня строить и жить и помогает..." Сначала строить, потом — жить. "Сплошную лихорадку будней" воспевают Маяковский, нечаянно признав ненормальной температуру времени. Спешка, гонка, "темпы" — были болезнью, искусственно привитой стране, подтачивавшей ее сопротивляемость, убивающей душу народа.

Солженицын спрашивает: почему узники Соловецкого лагеря должны были за один месяц построить за Полярным кругом зимой дорогу, выбрав 300 тысяч кубов земли? Почему нужно было строить Беломорканал — за 20 месяцев? Потому, что таково было задание Сталина. "Потому что, — объясняет писатель, — ничего НЕ срочного в те годы в нашей стране не делалось. Если бы она (стройка) была не срочной, — никто не поверил бы в ее жизненную важность — а даже заключенные, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность".

Лозунг Сталина "темпы решают все" — итожит новую философию. Срочность задания, спешка, темпы, лихорадочная гонка, "время вперед" — все эти одурманивающие лозунги не позволяют оглянуться, разобраться в происходящем, оценить средства и цели. Они оправдывают происходящее, становятся важным психологическим средством принуждения, действующим наряду со средствами физическими. Психология спешки,

срочности задания ложится в фундамент нового мировоззрения, выражаемого словами: "польза дела".

Среди наиболее потрясающих страниц второго тома "Архипелага ГУЛага" – идиллический рассказ писателя о его прогулке по берегам Беломорканала в 1966 г. Построенный в безумной лихорадке, ценой четверти миллиона жизней – оказался канал непригодным, ненужным, бессмысленным. Или вернее: единственным его смыслом было усиление температуры лихорадки – лихоманки! – в стране и внедрение темпов Канала вне зоны Лагерь.

Интереснейшая особенность "Архипелага ГУЛага" заключается в возможности не только познакомиться с итогами размышлений автора, но и с процессом его мышления. "Хорошо в заключении думать, – пишет Солженицын. – Самый ничтожный повод дает тебе толчок к длительным и важным размышлениям". Толчком к рождению одного из важнейших выводов книги стала "дешевейшая" спортивная "комедия", которую однажды привелось посмотреть писателю в лагере. С экрана настойчиво утверждалось: "Важен результат, а результат не в вашу пользу". Это не шутка, – говорит Солженицын, – это – заразная мысль. Писатель прослеживает корни этого мировоззрения. Оно пришло "сперва – от славы наших знамен и так называемой "чести нашей родины". Мы душили, секли и резали всех наших соседей, расширялись – и в отечестве утвердилось: "важен результат". Потом – перечисляет Солженицын далее – "от наших Демидовых, Кабаних и Цыбулькиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и все прочнее утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат. А потом – от всех видов социалистов, и больше всего – новейшего непогрешимого нетерпеливого

Учения, которое все только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!”

Уходящая корнями в историю, философия ”пользы дела”, ”результата” стала господствующей и обязательной после Октября. Правда, еще в 1903 г. лидер русских социал-демократов Г. В. Плеханов заявил, что ”благо революции — высший закон” и если после революции придется — для блага революции — разогнать избранный народом парламент, — надо будет это сделать, не задумываясь. В январе 1918 г. Ленин так и поступил. А через 10 лет после революции, готовясь к ”великому перешибу”, как выражается Солженицын, Сталин излагал новое кредо: ”Если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, — мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела”.

Утверждение этой философии в сознании народа было бы невозможно одними административными средствами. Главными ее распространителями стали советские писатели. Были среди них авторы позорнейшей в истории русской литературы книги ”Беломорканал”, или такие, которые — по тем или иным причинам — не внесли свой вклад в книгу, однако полностью с ней соглашались. Такие, как Леонид Леонов, делившийся после поездки по каналу своими впечатлениями: ”Если высоко взлететь и увидеть канал от моря до моря, какой захватывающий рассказ можно бы написать о новом пути и новом труде”. Были такие — очень немногие, — которые видели утверждение идеологии ”пользы”, оставаясь только свидетелями. Юрий Олеша показывает в ”Зависти” нового героя, идеолога ”пользы дела”, не только провозглашающего очевидное для него преимущество колбасы

над душой, но и — услышав возражения — немедленно произносящего "волшебное слово": в ГПУ. Герой романа Вениамина Каверина "Художник неизвестен" с обезоруживающей прямоотой высказывает символ веры нового времени: "Мораль? У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я выбрал бы штаны". Писатели-свидетели, ограничиваясь отображением действительности, старались не высказывать своего мнения. Ибо главный моральный авторитет советской литературы, властитель ее дум — Максим Горький, всеми имевшимися в его распоряжении средствами, утверждал "пользу дела". В откровенном письме Е. К. Кусковой он писал (22.1.1929): "У вас есть привычка не молчать о явлениях, которые вас возмущают, я же не только не считаю себя в праве и могу молчать о них, но даже отношу это умение к числу моих достоинств. Это аморально? Пусть будет так". Хорошо знавший Горького Константин Федин исчерпывающим образом охарактеризовал поведение своего учителя: Горький "отдал (в 30-е годы) все преимущество программе над... моралью, сделав этот акт своей новой моралью, морализируя его: раз "должно", значит "существует". Федин называет этот период "наименее противоречивым" периодом биографии Горького (письмо А. А. Долинину, 28 апреля 1947).

Выбрав аморальность, молчание, ложь, Горький и — под его руководством — советские писатели способствуют утверждению философии "результата", все оправдывающего "материального базиса". Наиболее полным, идеальным практическим воплощением философии становится лагерь. Его яд, проникая множеством каналов в тело страны, уничтожает границы между маленьким лагерем (зоной) и большим лагерем (всей страной).

Опоганенный рабский труд в лагере прививает отвращение к труду у всех жителей страны, рабская идеология эжков становится идеологией всех граждан, культ "результата", "пользы дела" становится государственной религией. И новейшая песня утверждает: "А нам нужна одна победа... Мы за ценой не постоим!" Лагерное рабство было массовым, — пишет Солженицын. — "Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому еще, что мы, советские люди, ступали на почву Архипелага духовно безоружными — давно готовыми к рабству, еще на воле тронутые им..." Философия "пользы", согласие на принцип: "раз "должно", значит "существует" — были важнейшим фактором разложения.

Александр Солженицын отвергает эту философию, эту идеологию. Это — ложь! — говорит он. "Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни — и с выюты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а ДУХ! Не что сделано — а как. Не что достигнуто — а какой ценой".

Никто еще так убедительно и ясно, с такой силой не показал, что советское общество на протяжении последних 55 лет было ареной борьбы духа с философией "пользы дела", никто еще не показал, как философия эта разлагает общество, порождает рабов. И это придает книге Солженицына характер универсальный. Делает ее книгой предупреждения Западу, склонному покориться философии "пользы дела".

Скоро исполнится 30 лет со дня окончания войны, уничтожившей гитлеровский режим. Но и сегодня не перестают печататься статьи, исследования, полные справедливых упреков по отношению к моральным авторитетам Западу, молчавших о гитлеровских конц-

лагерях, о миллионах невинных жертв. О советских концлагерях Запад говорил — одобряя их. Польза революции, польза социализма представлялась достаточным благом для оправдания лагерей, которые к тому же изображались, как еще одно благодеяние советской власти. В августе 1935 г. во французском городе Ангулем на конференции учителей выступали ораторы, утверждавшие, что принятый советским правительством закон о привлечении к уголовной ответственности — по всем статьям кодекса с применением всех мер наказания — детей, начиная с 12 лет, — замечательное свидетельство успехов советской педагогики, делающей 12-летних детей взрослыми. В годы войны Запад молчал о гитлеровских концлагерях. Но в 1944 г. вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уолесс в сопровождении знатока Дальнего Востока профессора Оуэна Латтимора посетили Колыму. Сам генерал-лейтенант Иван Федорович Никишов, начальник Дальстроя, организовал для почетных гостей экскурсию по Магаданской области. В книгах, написанных Уолессом и Латтимором, мы находим безудержное восхищение достижениями "замечательного концерна" Дальстроя, великолепным видом (высокие, здоровые молодые люди) рабочих, добывающих золото в труднейших условиях. То ли высоким американским гостям не пришло в голову, что им показывают лучших работников НКВД, то ли — молчали они в "интересах дела", не желая обидеть доблестного союзника.

Умер Сталин, продолжают жить лагеря. И когда президент США, любимый советским народом, Джон Ф. Кеннеди решает сделать первый шаг в сторону "разрядки напряженности", т. н. *detente*, он отменяет эмбарго на ввоз в США советских крабов. Эмбарго было в свое время наложено в связи с тем, что крабов упаковывали

в консервные коробки заключенные одного из камчатских лагерей. Можно считать это символом: разрядка начинается с признания лагерей, с согласия на рабский труд. Философия "пользы дела" добилась очередной победы. Об окончательном ее торжестве рассказывает "Архипелаг ГУЛаг".

Трагизм книги Солженицына — в ее сюжете: истории невиданной в мире лагерной империи, истории разложения общества, непрерывно отравляемого ядом Архипелага. Но несмотря на весь свой трагизм, "Архипелаг ГУЛаг" приносит слово надежды. Писатель показывает: лагерь — это преступление бездушного, аморального государства против человека. И в то же время: лагерь — испытание человека, проверка. Объект исследования писателя — люди, лишённые свободы, умирающие от непосильного труда и голода, — 227 свидетелей, давших Солженицыну свои воспоминания, сотни эсков, которых он видел, судьбу которых запомнил, но прежде всего, главным образом пишет он о себе. Второй том, быть может, еще более автобиографичен, чем первый. Потому, что — показывает писатель — не был он лучше других: еще долго после ареста, уже в лагере не покидало его тщеславие, мучил его зуд начальствования, — плод офицерского, просто советского воспитания, в минуты слабости хотел он бросить борьбу и просил Бога послать ему смерть. Писатель, не щадя себя, анализирует свое поведение в лагере и потому, что откровеннее он других. И не ирония, а глубокое понимание человеческого характера слышится в его вздохе: "В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе". И рассказывает — как невероятно трудно вырваться из раскинутой "кумом" дьявольской паутины. Но прежде всего пишет Солженицын о себе потому, что он сам

пример победы человеческого духа над тюрьмой и лагерем. Поняв цену жизни, поняв, что "дожить любой ценой" это "значит ценой другого", писатель — не один, конечно, "их много, людей кто так избрал" — находит внутреннее освобождение. И это внутреннее прозрение настолько освобождает его, что Солженицын записывает удивительные слова: "Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой. День "освобождения"! Как будто в этой стране есть свобода! Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой".

Познав собственную слабость, писатель познает и собственную силу. Он возвращается к Богу, находит Веру. Главный вывод, который делает Солженицын, — вывод из собственной жизни, из истории своей страны: "Я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке)... Я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра) — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство".

Через весь второй том проходит спор Солженицына с Варламом Шаламовым. Автор "Архипелага" почти исключил Колыму из "охвата своей книги", ибо ей "повезло": там выжил Варлам Шаламов"... Солженицын пишет о Шаламове очень доброжелательно, положительно оценивая его лагерные рассказы о Колыме и исследование о блатных: "кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили, в общем, одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и

отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт". Но расхождения между Солженицыным и Шаламовым есть. И касаются они прежде всего проблемы принципиальной: Солженицын возражает против основного вывода, сделанного после многих лет колымских лагерей: "...лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного оттуда никто не вынесет". Солженицын пишет: "Благословение тебе, тюрьма!" Спор между Солженицыным и Шаламовым выходит далеко за рамки дискуссии о поведении заключенных в лагере. Касается он души народа, ее возможностей. Спор этот о будущем страны — может ли она найти в себе силы для внутреннего освобождения.

Я коснулся лишь нескольких из наиболее важных, как мне кажется, проблем второго тома "Архипелага ГУЛаг". Но даже если они будут перечислены все — это не исчерпывает достоинств книги, ибо — это также и литературное произведение. Литературный ее анализ несомненно появится, а пока мне хотелось хотя бы только упомянуть о чрезвычайно своеобразной художественной особенности "Архипелага" — его сатиричности. Великолепный сатирический талант Солженицына проявился уже и в его прежних произведениях. Писатель пользуется сатирой для "гранения души", которое кажется ему необходимым условием становления человека. Сатиричность прозы прежних произведений Солженицына — форма освобождения писателя: "Не думай, Левка, что мне легко, — отвечает Нержин на упреки Рубина. — Скептицизм у меня, может быть, сарай при дороге — пересидеть непогоду. Но скептицизм есть форма освобождения догматического ума". В "Архипелаге ГУЛаг" писатель, используя богатейшую гамму сатирических средств, ставит своей целью "освобождение догматического ума" своих читателей. Поэтому одним

из главных объектов его сатиры становится советский официальный газетный язык, нашедший свое концентрированное выражение в языке Сталина, и вторгающийся все более широко в разговорную и книжную речь. Этот официальный язык — основа советской идеологии — складывающийся из готовых формул, лозунгов, цитат — должен — как звонок у павловских собак — вызывать немедленную заранее известную реакцию. Язык этот — главный враг творческого мышления: готовые формулы вызывают рефлекторные действия и мысли. Солженицын разрывает рефлекторную дугу, разоблачая подлинный смысл слов, возвращая им первоначальное значение. Вырывая из привычного, заученного контекста "летучие словечки": "юноше, обдумывающему житье...", "люди, я любил вас...", "гегелевская триада" и подобные, писатель заставляет думать. Образцом сатирического мастерства Солженицына может служить глава "Зэки как нация". Взяв "широко-известное единственно-научное определение нации, данное товарищем Сталиным", писатель создает "этнографический очерк", убедительно доказывая, что зэки — особая нация ("нас особенно освобождает, — замечает сатирик, — гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна!").

В конце 20-х годов, когда сатире вход в советскую литературу был окончательно закрыт, один из самых рьяных ее гонителей заявил: нам рано смеяться, пусть наши враги смеются! Солженицын, как бы перефразируя эту формулу, иронически замечает: "Нет у нас ничего смешного, все смешное на Западе!" Книга Солженицына показывает: много, быть может, даже слишком много у нас смешного, только всегда это смешное — трагично.

Смысл сатиры Солженицына лучше всего передают слова Достоевского: "...В подкладке сатиры всегда

должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом, и имя им обеим, вместе взятым: правда”.

Солженицын пишет: ”В нашем славном отечестве..., самые важные и смелые книги никогда не бывают прочитаны современниками, никогда не влияют вовремя на народную мысль”. Горькая это правда. Остается надеяться, что судьба самой важной и самой смелой книги нашего века будет иной.

Май 1974

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ III: ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО

Заключительный том "Архипелага ГУЛаг" – три последние части: каторга; ссылка; Сталина нет. Летопись страшного Архипелага смерти и рабства завершена. Александр Солженицын, добросовестнейший историк, постарался не пропустить ничего, собрать все свидетельства. В конце книги стоят даты – время работы над ней: 27.4.53 – 22.2.67. "Архипелаг ГУЛаг" был закончен к 50-летию Октябрьской революции – как памятник ей. Я кончаю книгу, заключает А. Солженицын "Послесловие", "в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилей-то связанные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки". И добавляет: "Второй-то юбилей, небось, пропустят..."

Рассказ о каторге, занимающий V часть книги, позволяет вспомнить обе знаменательные даты. "Револю-

ция, — пишет А. Солженицын, — бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова *каторга*. А это — хорошее, тяжелое слово...” Революция, действительно, поспешила отказаться от многих ”хороших” слов: каторга, тюрьма, расстрел, даже — вина. Вместо них появились слова легковесные, пустые: вместо тюрьмы — ДОПР, дом предварительного заключения, вместо расстрела — высшая мера социальной защиты, вместо вины — влияние гнилой, капиталистической среды. Только одно новое слово — концентрационный лагерь — окажется обладающим достаточной увесистостью и сохранится, все другие исчезнут, замененные старыми испытанными словами. До тех пор пока революционные вожди все разрушали, убежденные, что если бытие определяет сознание, то достаточно изменить бытие, чтобы родилось новое сознание, Новый человек, можно было обходиться без старых испытанных слов. Тем более, что отказались-то ведь только от слов, но не от тюрьмы, лагеря, расстрела. После того, как было объявлено, что социализм построен, никто уже не мог ссылаться на окружающую среду — Бытие стало идеальным. Если же человек почему-то не соответствовал нормам этого Бытия, то вина (слово это торжественно возвращается в Уголовный кодекс) — только этого человека. И наказывать его нужно как можно суровее. Лучше всего — каторгой.

Каторга вводится указом 17 апреля 1943 г., вскоре после ”сталинградской народной победы”, когда, как выражается А. Солженицын, ”Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору”.

Первый каторжный лагерь — 17-я шахта Воркуты. Цель почти не скрывалась, — пишет А. Солженицын, — ”каторжан предстояло умертвить”. Что такое сталинская каторга? А. Солженицын рассказывает: жилье — палатки

семь метров на двенадцать, обшитые досками и обсыпанные опилками (смехотворная защита от северных морозов); в каждой палатке по 200 каторжан; 12-часовой рабочий день без выходных с 10-минутным перерывом для обогрева; за счет оставшихся 12 часов — путь на работу и обратно, еда, проверки, обыски, для сна оставалось не более 4 часов. Первый "воркутинский алфавит" (каторжане получали номера — буква и цифры — от единицы до тысячи) — 28 тысяч каторжан погибли в течение года. "Удивимся, что — не за месяц", — горько комментирует автор "Архипелага", напоминая, что при Чехове на всем каторжном Сахалине было 5905 каторжан. При этом до революции для женщин каторжных работ не было вообще. В Советском Союзе, уничтожившем дискриминацию женщин, и для них была каторга — женские каторжные лагеря.

Описав условия жизни, лучше сказать смерти, на каторге, писатель рассказывает о ее обитателях. Он заранее готов к упрекам: "Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: остановитесь! О ком вы смеете нам говорить? Да! Их содержали на истребление, — и правильно! Ведь это — предателей, полицаяев, бургомистров! Там им и надо! Уж вы не жалеете ли их?? (Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит органам). А женщины там — это же немецкие подстилки! — кричат мне женские голоса".

Снова, как уже не раз в предыдущих частях, связывает писатель неразрывной цепью революцию, послереволюционную действительность и — ГУЛаг. Он начинает с женщин. Они осуждались на каторжные работы за "связь с оккупантами". "Но чья же тут вина? Чья? — вопрошает писатель. — Каковы же были мы, что от нас наши женщины потянулись к оккупантам? Не одна

ли это из бесчисленных плат, которые мы платим, платим и еще долго будем платить за наш путь, поспешно избранный, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперед?”

Но мужчины, ”мужчины-то, конечно, за дело?! Это — предатели родины и предатели социальные”. А. Солженицын опять и опять задает вопрос, который мучительно волнует его: ”Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А — предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из нее? Как будто нет... И все это было при строе, враждебном трудовому народу. Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе — и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч *предателей*”. Откуда они? — спрашивает писатель. — Почему? Он повторяет: Что же их заставило? Кто это такие?

Советские историки утверждают, что такого вопроса нет, а теми, кто его ставит, должны заниматься органы. Западные историки стесняются — в своем большинстве — задавать этот вопрос, чтобы не обидеть доблестного союзника в войне с гитлеровской Германией. Постановка этого вопроса, поиски ответа на него важны не только для понимания прошлого, но и для понимания будущего. Как случилось, что с 29 июня по 7 июля, в битве под Белостоком и Смоленском, немцы взяли в плен 320 тыс. советских солдат и офицеров, 16 июля, под Смоленском, 300 тыс., 5-8 августа, под Уманью — 103 тыс., 24 сентября, под Киевом — 665 тыс., 18 октября, под Брянском и Вязьмой — 665 тыс.? Солженицын приводит сталинский приказ (0019, 16.7.41): ”На всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие”. Автор ”Архипелага” не принимает официальных объяснений: ”застиг врасплох”,

”численное превосходство”, подчеркивая, кстати, что ”всеми численными превосходствами обладала Красная Армия”.

Объяснение, которое дает А. Солженицын, однозначно: советско-германская война началась ”через 10 лет после душегубской коллективизации, через восемь лет после великого украинского мора (6 миллионов мертвых и даже не замечены соседней Европой), через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после кандалных законов о производстве, и все это — при 15-миллионных лагерях в стране и при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни...” Война вызывала у народа прежде всего желание ”вздохнуть и освободиться”, желание выразить ”отвращение к своей власти”. Населению СССР до 1941 г., — пишет А. Солженицын, — ”естественно рисовалось: приход иностранной армии — значит, свержение коммунистического режима...” А подлинная суть гитлеризма не могла быть понята советским народом, который ”справедливо научился не верить советской пропаганде *ни в чем*”, пока он не испытал гитлеровскую программу на своей шкуре.

В 1950 г. автор ”Архипелага” лично знакомится с обитателями каторги, которая, правда, к тому времени стала называться Особыми лагерями. ”Рабочая сила была нужна, а в каторге вымирали зря”, поэтому были созданы Особлагеря — ”малость помягче ранней каторги, но жестове обычных лагерей”. Мягкость и жестокость — понятия, бесспорно, условные. На 1800 страницах ”Архипелага ГУЛаг” можно найти немало ужасов и зверств, рассказ об Особом лагере в Спасске занимает заметное место среди самых страшных эпизодов. Спасск дает отличное представление о том, чем были Особлаги. Присылали в Спасск инвалидов (кстати, там работал

хирургом доктор Колесников, один из "экспертов", подписавших "лживые выводы Катынской комиссии". А. Солженицын комментирует: "За это и посажен он был сюда справедливым Провидением"). Но начальник Степлага, в который входил Спасск, полковник Чечнев не признавал инвалидства. "Он любил говорить: "Инвалид у меня во всем Спасске один — без двух ног. Но и он на легкой работе — посыльным работает". Это Чечнев придумал — четырех одноруких ставить носить носилки: двух с правой рукой и двух с левой. Даже в летние — благополучные — месяцы 1949 г. в Спасске умирало по 60-70 человек, а зимой — по сотне*.

А. Солженицын начинает знакомиться с обитателями Особлагов еще в пересыльных тюрьмах, по дороге к месту назначения. Он всматривается в тех, с кем свела судьба, старается вдумать в них. Большинство заключенных — прибалтийцы и западные украинцы. Размышления писателя о национальном вопросе в 3-м томе "Архипелага" заслуживают особого внимания. Быть может, еще никогда он не изложил своих взглядов так ясно и четко. "Стыдно быть русским!" — воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. Вдвойне стыднее мне сейчас перед этими незабиячливыми беззащитными народами", — Солженицын имеет в виду литовцев и эстонцев, добавляя: "К латышам у меня отношения сложнее. Тут — рок какой-то. Ведь они это сами сеяли". Писатель имеет в виду роль латышских стрелков в период Октябрьской революции и гражданской войны, считая, что все пережитое латышами после 1940 г. — это некое возмездие.

* Автор "Архипелага" успокаивает читателей: Чечнев — ныне генерал в отставке, живет в Караганде.

Говоря об особенной ясности и четкости взглядов А. Солженицына по национальному вопросу, я имею прежде всего в виду его высказывания об Украине и украинцах. Он отмечает, что стали ругательствами в русском языке слова "бендеровцы", "петлюровцы", и никто не думает разобраться в сути этих слов. А "бендеровцы", как и "петлюровцы", — пишет А. Солженицын, — "это всё те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несет им обещанной свободы, они и против Гитлера воевали всю войну, но мы об этом молчим, это так же невыгодно нам, как Варшавское восстание 1944 г.". Писатель спрашивает: "Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей *мове*? ..Почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?" Он признается: "Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня в крови, и в сердце и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших".

А. Солженицын заключает: "Мы обязаны отдать решение им самим — федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить — безумие и жестокость".

"Архипелаг ГУЛаг" — кропотливое собрание фактов, свидетельств, документов. И это одновременно — анализ души народа, жившего в ГУЛаге и рядом с ГУЛагом. Как могло стать, что народ позволил себя закабалить, почему он не сопротивлялся? — спрашивал писатель в предыдущих частях книги. Почему терпели заключенные? — спрашивает он в 3-м томе. И отвечает: "А мы не терпели!"

3-й том, последние части книги — рассказ о том, как заключенные сопротивлялись, рассказ о Сопротивлении. А. Солженицын знакомит читателя с множеством форм этого сопротивления — от одиночного до массового, от острого слова до ножа. Писатель заявляет: "В Особлагах мы подняли знамя *политических* и стали ими!" В Особлагах... Каторга, а потом Особлагеря были высшей точкой развития сталинской системы лагерей, жесточайшим ее проявлением. Но одновременно выделение заключенных, которые понимали, что для них нет будущего, что им нечего терять, создало условия для Сопротивления. "Ветерок революции" — называет Солженицын главу, в которой рассказывает об этапе с марфинской "шарашки" до лагеря в Экибастузе: в пересыльных тюрьмах, в тюремных вагонах каторжане говорили так свободно, как немыслимо было себе даже представить т. н. свободным советским гражданам, то есть — не арестованным. Эта внезапно осознанная возможность свободного выражения своих мыслей объяснялась и потерей заключенными надежд на освобождение — большинство из них имело по 25-летнему сроку, и надеждами на свободу, вызванными корейской войной, которая воспринималась советскими узниками, как прелюдия к мировой войне. "Вот как нас загнали, — пишет А. Солженицын. — Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть... либо все же свободу. В обоих случаях — избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году".

Сопротивление заключенного — это прежде всего внутреннее освобождение человека. А. Солженицын рассказывает о лагерных поэтах, нашедших внутреннюю свободу в слове, в ритме, в стремлении выразить стихами силу человеческого духа. Среди этих лагерных поэтов был и автор "Архипелага", разработавший

удивительную технику запоминания в уме десятков тысяч стихотворных строчек. Рассказывает писатель о Пете Кишкине, игравшем роль Иванушки-дурачка из русских сказок, юродивого, о котором заключенные говорили: Кишкин умнее всех нас. Одним острым словом умел он задеть за живое самого тупого заключенного, обнажить лживость официальных лозунгов. Много места посвящает автор "Архипелага" самой смелой, хотя и самой безнадёжной форме одиночного сопротивления — побегам из лагеря. Образ "убежденного беглеца" Георгия Тэнно, морского офицера, спортсмена, ценившего свободу больше всего на свете — один из самых симпатичных в книге. "Что ты можешь на воле, особенно на теперешней? Что ты бегаешь? — спрашивали Тэнно товарищи. — Как что? — удивлялся он. — Свобода! Сутки побывать в тайге не в кандалах — вот и свобода!"

Из вышедших в США воспоминаний друга Тэнно по лагерю Александра Долгуна ("Американец в ГУЛаге") мы знаем, что освободившись из лагеря, из "малой зоны", реабилитированный "убежденный беглец" Тэнно думал только о бегстве из "большой зоны" — из СССР.

Главы о побегах в "Архипелаге ГУЛаг" — это не только рассказ о мужестве людей, бросавших вызов Особлагам, рискуя жизнью — как говорил Тэнно: "Вопрос так стоит: к смерти ты готов? Готов. Значит и к побегу". Это рассказ о трудностях, которые только начинались после ухода за проволоку. Беглец шел по вражеской стране, он не мог не только ждать помощи, он должен был каждую минуту ждать от каждого встречного выдачи властям. "Наше население, — пишет А. Солженицын, — боялось помогать или даже продавало беглецов — корыстно или идейно". Да что там

население — случалось, что беглецов продавали родственники.

И все же те, в ком жила свобода, кто готов был к смерти — бежали, сопротивлялись. Но и побеги, даже если осуществлялись группой, были одиночной формой сопротивления.

Центральное, важнейшее место в третьем томе "Архипелага" занимает описание массовых форм сопротивления — забастовок, мятежей. В лагерной литературе есть уже немало свидетельств о выступлениях заключенных. В 1954 г. вышла на многих языках книга немецкого врача Иозефа Шолмера "Возвращение мертвых", в которой подробно рассказывалось о забастовке воркутинских заключенных в июле 1953 г., в 1973 г. Дмитрий Панин в "Записках Сологдина" рассказал о забастовке в Экибастузском лагере, Александр Долгун приводит свидетельства о мятеже в Кенгире в мае 1954 г., о "40 днях Кенгира" вспоминает участница мятежа Любовь Бершадская в книге "Распотанная жизнь".

А. Солженицын первым пробует дать историю мятежей и восстаний — насколько это возможно, учитывая, что, как пишет автор "Архипелага", "участники их уничтожены, дальние свидетели перепуганы, донесения подавителей сожжены или скрыты за двадцатью стенками сейфов, — что восстания эти уже сейчас обратились в миф..." летописец Архипелага собирает по крупицам свидетельства уцелевших участников, рассказы из вторых рук, проверяя и перепроверяя дошедшие факты. Огромную помощь оказывает ему и его собственный опыт. А. Солженицын был участником и свидетелем выступления заключенных лагеря в Экибастузе.

Писатель вспоминает о "самых ранних вспышках" — о бунте в январе 1942 г., когда Ретюнин (ничего о нем

неизвестно) увел в леса несколько сотен заключенных, о легендарном восстании 1942 г. на строительстве далекой северной железной дороги на Солехард. Были истреблены все, кто ушел с Ретюниным, с самолетов расстреляли мятежников 1948 г. Новая эпоха начинается в начале 50-х годов, когда "подошла к кризису сталинская лагерная система..." Кончилась эпоха побегов – началась эпоха мятежей. А. Солженицын подробно излагает историю забастовки-голодовки в Экибастузе и 40-дневного восстания в Кенгире. Сравнение этих двух бунтов позволяет выявить типичные черты, характерные для пробуждения воли к свободе в сталинских лагерях. И в Экибастузе, и в Кенгире ход событий был идентичным. Главное звено, которое позволит рвать цепь, выбирается стихийно, инстинктивно: истребление стукачей, шпионов лагерного начальства: "Убей стукача!" – вот оно, звено! Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей – вот оно!" Писатель теоретически, сидя за письменным столом, в чистой теплой комнате, согласен, что насилие порождает насилие, что насилием ничего в мире добиться нельзя. Но, пишет он, "надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать на работе, быть таскаемым в БУР (барак усиленного режима) по доносам, безвозвратно затапываться в землю – чтобы оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовней сытых вольняшек". В первом томе "Архипелага" мечтал А. Солженицын о сопротивлении "проклятой машине Сталина": "Если бы во времена массовых посадок... люди не сидели бы по своим норам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах по лестнице, – а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады

по несколько человек с топорами, молотками, с чем придется?..” Понадобились годы мучений, унижений, страданий, чтобы люди, понявшие, что “терять им уже дальше нечего”, взялись за ножи.

На пять тысяч заключенных было убито с дюжину стукачей, но результат был ошеломляющий: “Внешне мы, как будто, по-прежнему были арестованы и в лагерной зоне, на самом деле мы стали *свободны* — свободны, потому что впервые за всю нашу жизнь, сколько мы ее помнили, мы стали открыто, вслух говорить все, что думаем!” Писатель добавляет: “Кто этого перехода не испытал — тот и представить не может!” Ликвидация стукачей — ушей и глаз начальства в зоне — была первым этапом сопротивления. Следующим было создание руководящих органов: “Зародились и укрепились недоступные стукачам национальные центры: украинский, объединенный мусульманский, эстонский, литовский. Никто их не выбирал, но так справедливо по старшинству, по мудрости, по страданиям они сложились, что авторитет их для своей нации не оспаривался”. Следующим шагом нараставшего лагерного движения было выдвижение предложений. “Но все еще кровь текла в нас — рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как скажем выйти бы с пулеметами на улицу. А слово “забастовка” так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке... На голодовку мы, вроде, имеем все-таки какое-то право, — а на забастовку? Поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще-опасное и, конечно, контрреволюционное слово “забастовка” стоит у нас в одном ряду с “Антанта, Деникин, кулацкий саботаж, Гитлер”.

Заклученные объявляют голодовку с забастовкой

после того, как лагерные власти, пытаясь подавить движение, открывают пулеметный огонь по безоружным заключенным, а затем, ворвавшись в зону, расстреливают тех, кто не успел скрыться в бараках, из автоматов.

Сопrotивление заключенных, задувший в лагере "ветерок революции" был полной неожиданностью для начальства. Оно совсем растерялось, после того как часть стукачей была убита, а остальные бежали под защиту начальства. Реакция начальства, методы, с помощью которых пытается оно сломить бунт, анализируются писателем с такой же тщательностью, как и поведение заключенных. Прежде всего, начальство старается разделить лагерное население по нациям — отделить украинцев, составлявших основное боевое ядро. Используется обман надеждой: создается фиктивная комиссия, которая вызывает заключенных и навевает им мираж скорого освобождения. Делаются попытки объявить начавшееся движение — бандитизмом. Наконец, лагерные власти прибегли к самому простому средству: применили оружие. В ответ на это заключенные объявили голодовку и не вышли на работу. Три дня продолжалась забастовка-голодовка. "Этих трех суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребенных трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону". И начальство вынуждено было прийти к забастовщикам и говорить с ними. И выяснилось здесь, что требования заключенных — робки, неясны, идут очень недалеко: судить виновников расстрела, снять номера, снять замки с барачных дверей. Не было даже, отмечает А. Солженицын, требования 8-часового рабочего дня. "Так мы отвыкли от свободы, — коммен-

тирует писатель, — что уже вроде и не тянулись к ней...”

Кончается забастовка. Заключенные — да и как бы могло быть иначе — терпят поражение. Не хватает им еще силы и упорства. В галерею героев “Архипелага” добавляет А. Солженицын портрет инженера поляка Юрия Венгеровского, отказывающегося прекратить голодовку, когда вся бригада сдалась. “И тут, — пишет Солженицын, — я понял, что значит польская гордость — и в чем же были их самозабвенные восстания... Если бы мы все были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?”

Сдался Экибастуз, но “зараза свободы” передалась дальше. Следующим этапом борьбы стало восстание в Кенгире. Самый крупный мятеж в истории Архипелага. Вспыхнув стихийно, мятеж в Кенгире стал как бы шагом в истории освободительного движения: 40 дней лагерь жил свободной жизнью, изгнав начальство и допуская его только для переговоров. “Восемь тысяч человек, — пишет Солженицын, — не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу”. Заключенные избрали *Комиссию* для переговоров с начальством и для самоуправления. Впервые за долгие, долгие годы советские граждане совершенно свободно избирали орган самоуправления. И произошло это — в лагере, окруженном со всех сторон войсками. Лагерь украсился лозунгами: “Да здравствует советская конституция”, “Да здравствует президиум ЦК”, “Да здравствует советская власть”... Мятеж возглавил бывший полковник Красной Армии Капитон Кузнецов, твердивший: “Спасение наше — в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями *как подобает советским гражданам*”. Солженицын предоставляет будущему историку кенгирского мятежа “разъяснить этого человека”. Сам он

пишет: "Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? (Я это отвергаю.) Или, зная командные свои способности — для того, чтобы умерить его, ввести в берега и укрощенной волной положить под сапоги начальству? (Так думаю.)". Второй руководитель мятежа — бывший старший лейтенант Глеб Слученков, не желавший идти ни на какие компромиссы, настаивавший на необходимости борьбы до смерти, ибо знал, что только такой конец ожидает его — больше по душе летописцу "Архипелага".

Удивительное единство всех заключенных лагеря — политических, мужчин и женщин, уголовников, которых, стремясь предотвратить волнения, прислали в особлаг (впервые А. Солженицын находит благожелательные слова по отношению к блатным, утверждая, правда, что только после того, как политические стали резать стукачей, блатные их "зауважали") — было главной силой кенгирского мятежа. Писатель показывает ужас властей перед мятежом, перед его размахом. Правда, произошел он после свержения Берии, пошатнувшего устои МВД. И тем не менее, страх, недоумение, неспособность принять решение, проявленное руководством МВД — очевидны. Придумав десятки тысяч фиктивных заговоров, мятежей, МВД растерялось, столкнувшись с подлинным мятежом. В течение 40 дней власти обдумывают, как поступить с мятежниками, усыпляя их переговорами. Для переговоров явилось из Москвы самое высокое начальство — начальник ГУЛага генерал Долгих, заместитель министра внутренних дел. Заключенные требовали приезда члена Президиума ЦК. Их требования были почти теми же, что и в Экибастузе: наказание тех, кто стрелял в заключенных, снятие номеров, 8-часовой рабочий день, увеличение оплаты за

труд (но не было речи об уравнивании оплаты с вольными), свободная переписка с родственниками, пересмотр дел.

Власти пытались с помощью радио агитировать заключенных, уговаривали их сдаться, была выломана в нескольких местах стена, окружавшая лагерь, и заключенным предлагалось бежать из мятежного гнезда. За зону убежало всего около дюжины. А. Солженицын объясняет: "Поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что... слишком низкие законы, по которым "жизнь дается только однажды", и бытие определяет сознание, и шкура гнет человека в трусость — не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте".

Ранним утром 25 июня 1954 г. начался штурм лагеря — вошли танки, за ними автоматчики. Танки давили всех попадавшихся на пути, в том числе женщин. Над лагерем бреющим полетом шли самолеты, наводя ужас. Цифра жертв превысила, насколько можно знать, 700 человек. А. Солженицын напоминает: "9 января 1905 г. было убито около 100 человек. В 1912 г., в знаменитых расстрелах на Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убито 270 человек, раненых — 250". Историк "Архипелага" добавляет: в Москве в этот день открыли памятник Юрию Долгорукому: "И так он получился как бы памятник Кенгиру".

Главы о восстаниях на отдельных островах Архипелага убедительно свидетельствуют: да, советские заключенные сопротивлялись. Солженицыну удалось заполнить многие белые пятна на карте советской истории. Но этим не исчерпывается значение последних трех частей книги. Если первые два тома были летописью былого, возвращением памяти, без которой невозможна жизнь народа, третий том позволяет нам увидеть контуры будущего.

Перед нами книга, в которой впервые представлены различные формы недовольства режимом, различные формы сопротивления, борьбы с ним. Писатель анализирует их, показывает общие черты: недовольство возникает обычно стихийно, неорганизованно, оно, как правило, направлено не против советской власти, а против ее представителей, оно носит мирный характер — во время лагерных мятежей убивались стукачи, но — не представители власти. Солженицын показывает, что в условиях полного подавления личности наступает вдруг момент освобождения, момент взрыва, когда перестает быть страшной смерть, когда рождается общественное мнение, поднимающее человека на героизм.

Как нельзя более логичным является поэтому включение в "Архипелаг ГУЛаг" главы, посвященной выступлению новочеркасских рабочих 2 июня 1962 г. — первое описание первого за десятки лет открытого стихийного возмущения трудящихся действиями властей.

Заключительная часть книги "Сталина нет" не оставляет надежд. Сталина нет, правители меняются, но Архипелаг остается. Остается Архипелаг, ибо неизменным остается общество, его породившее и кровно с ним связанное. Остается Архипелаг, остается Беззаконие. Кенгирских заключенных давили танками при Маленкове, сменившем Сталина. Новочеркасских рабочих, протестовавших против повышения цен, прекративших работу в знак протеста и вышедших в мирной демонстрации на улицы, расстреляли при Хрущеве, сменившем Маленкова. "Вторые полвека висит огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи — есть, а закона — нет". Этими словами заканчивается Летопись Архипелага ГУЛаг, история общества, в котором террор и произвол заняли место закона.

Гегель пришел к выводу, что история учит только тому, что она никого ничему не учит. Но некоторые исторические закономерности заставляют задуматься. Мирному "хождению в народ" русской интеллигенции 70-х годов прошлого века на смену пришел террор. Расстрел мирной, верноподданнической манифестации 9 января 1905 года был первой искрой октябрьского пожара 1917 года.

"Архипелаг ГУЛаг" вызвал такой ужас у советских руководителей не столько потому, что он рассказывает правду о прошлом, сколько потому, что он предвещает будущее, показывает контуры будущего. В борьбе с книгой приняты самые серьезные меры. Наиболее радикальной из них явилось исключение из русского словаря слова — архипелаг. Даже географы вынуждены заменить его выражением: группа островов. Власть имущим нетрудно запретить слово. Гораздо труднее остановить воздействие слова, остановить движение мысли, вызванной книгой, книгами Александра Солженицына.

Апрель 1976

ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ: ПОРТРЕТ

Незадолго до смерти Ленина пролетарский поэт Николай Полетаев с грустью констатировал: "Портретов Ленина не видно, похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет". Миллионы портретов Ленина были "нарисованы" с того времени, но только сегодня, после выхода книги Александра Солженицына, можно говорить о появлении Портрета. И вопрос не в том: похож этот портрет или не похож? Кто может ответить? Важно другое: портрет удивительно живой, написанный страстно и пристрастно, с болью обманутой любви.

Портрет Ленина кисти Солженицына станет Портретом вождя русской революции не только потому, что написан он мастером, писательский талант которого достиг высшей точки расцвета, но и потому, что написан он верующим, потерявшим веру.

Ключ к "Ленину в Цюрихе" мы находим в первом томе "Архипелага ГУЛаг". Рассказывая о своей встрече в камере со старым революционером Фастенко, Солженицын замечает: "Тут Фастенко я еще не мог понять. Для меня в нем едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно. (Мое настроение было тогда такое: кто-то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто: "Ильич, сегодня парашу ты выносишь?") Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичом, кроме единственного человека на земле!").

Неистовость, свойственная темпераменту Солженицына, проявлявшаяся в его преклонении перед Лениным еще и долго после ареста, выразилась теперь в книге, где разбивается кумир, которому он поклонялся. Фастенко "говорил мне ясно по-русски: "Не сотвори себе кумира!" А я не понимал!" Когда Солженицын понял — кумир был свергнут и растоптан в пыль.

Но и этого — преклонения и низвержения — было бы, мне кажется, недостаточно для создания такого Ленина, какого мы находим на страницах новой книги Солженицына. Есть в портрете отца советского государства еще один необычайно важный элемент: сходство с автором портрета. Преклоняясь перед кумиром, потом свергнув его, Александр Солженицын обнаружил вдруг свое внутреннее родство с Лениным. "Бодался теленок с дубом" был двойным портретом: Солженицын видел себя в зеркале-Твардовском. "Ленин в Цюрихе" — снова двойной портрет: Солженицын видит себя в зеркале-Ленине. И понимает Ленина — через себя. Можно думать: и себя — через Ленина.

Мелкие черточки, неважные детали складываются в портрет. В чей портрет? Это — Ленин читает книги по базедовой болезни, чтобы проверить, правильно ли швейцарские врачи лечат его жену (стр. 27). Это — зэк Солженицын читает книги по раку, чтобы проверить, как казахстанские врачи лечат его. Это — Ленин "заболевал от одного потерянного часа" (59). Это — Солженицын в "Бодался теленок с дубом" бережет каждую секунду своей жизни, потраченную не на писание "главной книги". А когда мы читаем о Ленине: "...он видел выводы своих книг исключительно рано, еще не садясь их писать", разве нет у нас ощущения, что это относится и к автору "Ленина в Цюрихе"?

Начав свой гигантский труд о революции, рассчитанный на 20 томов, Солженицын не мог не встретить — прежде всего — "того, кто сделал революцию". Маяковский писал: "Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше". Солженицын очищает себя от Ленина, пишет проникающий до сердца портрет, чтобы понять Ленина, понять революцию. И — торопится опубликовать портрет, сбросить с плеч тяжесть, мешающую идти дальше.

"Ленин в Цюрихе" — разоблачение мифа Ленина: гениального, мудрого, доброго, смелого, "самого человеческого из всех людей". В книге — три Ленина. Первый — Ленин в августе 1914 года. Началась война, и русский эмигрант Владимир Ульянов, проживающий в Поронине, арестован австрийскими властями. Очень скоро выпущенный по ходатайству австрийских социалистических лидеров, он едет в Швейцарию. Первый Ленин — счастливый. Сбылись его мечты, началась война: "Замечательно, что началась война! Это радость, что началась!.. Да это счастливая война! — она принесет великую пользу международному социализму..." Глава

кончается словами: "Это — подарок истории, такая война!"

Ленин, с которым знакомится читатель в первой главе, — прямая противоположность мифологическому Ленину: он — плохой конспиратор (конспирировавший 30 лет Солженицын особенно чувствует здесь свое превосходство), трусоват, безжалостен к людям, отбрасывая тех, в ком миновала надобность, никому, даже жене, не прощает ошибок, не терпит шуток по своему адресу. Но есть в этом портрете и черта из мифологического образа: "...какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться... но провидя будущее, стоять и знать"... Сила уверенности, ощущение "властной силы, проявляемой через него", сознание возложенной миссии — так определяет Солженицын главную пружину ленинского поведения, ленинского характера в первой же главе.

Второй Ленин — осенью 16 года — вождь группки преданных ему исполнителей, интриган, девиз которого: "Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в нем останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопослушные, и можно достичь — всего!!!" Второй Ленин — одержим революцией. Но только такой революцией, вождем которой — будет он. Второй Ленин — снедаем властолюбием, особенно страшным потому, что оно аскетично. Непреклонно верящему в свою миссию Ленину не нужны никакие земные блага. Только власть, которая позволит ему облагодетельствовать Пролетариат. Но даже в Ленине есть ущербина, даже у железного Мессии рабочего класса есть слабость — любовь к женщине. Второй Ленин — влюбленный Ленин. Александр Солженицын рассказы-

вает о странной любви Владимира Ильича к Инессе Арманд. Странная любовь — любовь втроем: не нравится писателю ни объект любви — Инесса, бросившая мужа и пятерых детей — для революции, ни поведение Ленина, не разрешившего жене — Надежде — уйти от него, ибо "нужна", ибо "жить с Надей — наилучший вариант". Быть может, особенно не нравится писателю то, что Ленин "зависел от ее наказаний. Инесса была единственный человек на земле, от кого он — чувствовал, признавал свою зависимость". Поэтому жестоко-иронично пишет Солженицын: "Правда, все втроем, втроем — в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоем)", и еще более иронично о том, как прерывает сложные размышления о мире и революции простая мысль о давно не приезжавшей Инессе: "Так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить — отчего же ее не осуществлять?" Но тотчас же приходит утешение: "Да не может быть! Товарищ и друг! Как славно билась в Кинтале с центристами?"...

Третий Ленин — весной 17 года — мечущийся в разные стороны, растерянный, растерявший всех сторонников, утративший всякую связь с Россией. Убедившись, что революция на родине невозможна, Ленин лихорадочно гонится за химерами: революция в Швейцарии, революция в Швеции. Где-нибудь, все равно — только бы революция. И все чаще болит голова: "От этой головы отделаться — некуда. Все в мире ждет твоих оценок и решений! все в мире можно направить твоею волей! — а сам ты уже стиснут и вырваться — невозможно!"

Но выход появляется. В России — вопреки ленинским предсказаниям, несмотря на ленинское убеждение в ее

невероятности — вспыхивает революция. И вот — все готово к выезду на родину, к проезду через Германию. И, заканчивая книгу, Радек пророчествует: "В общем, так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть". Апрель 1917.

Портрет Ленина: разоблачение мифа о мудром, прозорливом вожде, о пророке, видевшем на сто лет вперед. Портрет Ленина: разоблачение мифа о добряке, любящем детей и кошек. Портрет Ленина: портрет жестокого, бессердечного в своей целеустремленности безгранично властолюбивого человека, одержимого своей миссией. Предосудительны ли эти качества сами по себе? Да, — отвечает писатель. Но... Солженицын пишет: "Ленин — струна. Ленин — стрела". Напряжение всех сил для достижения цели, непреклонность воли на пути к ней — не могут не импонировать Солженицыну. Но он отвергает цель, к которой — как стрела, поражая все на своем пути, — стремился Ленин. Писатель отвергает революцию. Отвергает прежде всего потому, что революция, которую готовит Ленин, которой посвящает все свои помыслы, всю свою жизнь — для Солженицына: революция антирусская, антинациональная.

Солженицын демонстрирует это косвенно: в окружении Ленина нет русских — Якуб Ганецкий, Карл Радек, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Бриллиант-Сокольников, Христиан Раковский, наивно-доверчивый швейцарец Платтен, кипящий, решительный немец Мюнценберг. Интернационализм социал-демократической партии обрачивается в книге Солженицына враждебностью России. Никому из революционеров, окружающих Ленина, и ему в первую очередь — до России нет никакого дела, не жалко ее. "А-а, попался хищный стервятник с герба! —

радуется Ленин, узнав о начале войны. — Схвачена лапа, не выдернешь!.. Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу отделение! Чтобы подход!..” Но не только об уничтожении Российской империи мечтает Ленин. Читая сводки о военных действиях, ”цифры русских потерь всякий раз находил и ногтем отмечал Ленин — с удовлетворением и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокола и ослабляли монархию”.

В длинном внутреннем монологе сводит Ленин счета с Россией, Солженицын с Лениным; и не знает читатель, думает ли это о себе Ленин, пишет ли это о Ленине Солженицын: ”И зачем он родился в этой рогожной стране?! Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дрянной российской колымаге! Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной... И что же его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией — двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас... он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм — безнационален”.

Социализм — безнационален, социализм — антинационален, социализм — враг России: так раскрывается смысл деятельности Ленина. И чтобы смысл этот стал очевиднее, нагляднее, рядом с Лениным ставит Александр Солженицын выдающегося социалиста, бес-

пощадного врага России — Александра* Лазаревича Гельфанда, известного под псевдонимом — Парвус. Пять глав из одиннадцати выделены в книге Парвусу, его биографии, его разговору с Лениным, его Плану уничтожения России, его содействию в организации проезда Ленина через Германию в Россию — в апреле 1917 года.

Один из крупнейших теоретиков II Интернационала (еще в 1930 г. Малая Советская Энциклопедия называет Парвуса "видным теоретиком марксизма"), руководитель — вместе с Троцким — русской революции 1905 г., миллионер, разбогатевший на подозрительных поставках, советчик германского министерства иностранных дел во время войны, враг России, казавшейся ему главной преградой на пути к победе социализма, Парвус был персонажем, который Солженицын должен бы выдумать, если бы он не существовал в действительности. Отличная биография Парвуса, написанная З. Земаном и В. Шарлау**, дала Александру Солженицыну богатый материал для создания демонического образа гениального революционера-заговорщика, не брезгующего никакими средствами для достижения своей цели.

Цель Парвуса — она же и цель Ленина, она же — "задача мирового социализма": "уничтожающий разгром России и революция в ней". Отсюда тезис

* Эмигрировав 19-и лет из России, Гельфанд переименовал свое имя Израиль — на Александр, но Солженицын продолжает называть его: Израиль Лазаревич.

** Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman. *Freibeuter der Revolution*. Köln, 1964.

Парвуса: "Путь к победе мирового социализма – военное укрепление Германии... Победа Германии – победа социализма!" Отсюда План Парвуса: "собрать под единое руководство все возможности, все силы и средства, вести из единого штаба – действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей... Совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке".

Ставя рядом, на одну доску Парвуса и Ленина, сравнивая их, примеряя одного к другому, Солженицын прежде всего сокрушает миф об уникальной гениальности вождя Октябрьской революции. Рядом с Лениным – Парвус: не менее гениален (а может быть, даже?..), не менее прозорлив (а может быть, даже?..), лучше видит будущее (это Парвус понял все возможности советов рабочих депутатов, это Парвус в начале века предвидел, что Европа станет объектом борьбы двух сверхдержав: Америки и России). Ставя рядом Парвуса и Ленина, Солженицын тем самым подчеркивает антирусскость Ленина, для которого – как и для Парвуса – революция, социализм – важнее родины.

В одном только Ленин оказался мудрее Парвуса, дальновиднее: не пожелал открыто связываться с Германией. "Вот в чем вы ошиблись, Израиль Лазаревич! – выкрикивает Ленин мысленно своему союзнику. – Взять от других нужное? – да. Но себе связать руки? – нет!!!"

В центральной сцене – в воображаемом Солженицыным разговоре Парвуса с Лениным, который представлен как торг "гешефтера" и "калмыка на астраханском базаре", Ленин проявляет большую выдержку, меньшую нетерпеливость.

Исторические романы всегда пишутся о современ-

ности: истина эта не требует доказательств. Ленин Солженицына – это Ленин, каким его видит автор "Архипелага ГУЛаг". Но удивительным образом, так же видел Ленина и его друг и современник Максим Горький в короткий период после Октябрьского переворота.

Это Горький писал через месяц после Октября: "Да, я мучительно и тревожно люблю Россию, люблю русский народ... Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них – та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом..." А через полгода после революции он писал снова: большевики "производят жесточайший научный опыт над живым телом России..."

Горький отлично понимает – и Солженицын вполне с ним согласен – мотивы, движущие большевиками, "революционерами на время", по выражению автора "Несвоевременных мыслей": такой революционер "относится к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов, с той, однако, разницей, что и бездарный ученый, мучая животных бесполезно, делает это ради интересов человека, тогда как революционер сего дня далеко не постоянно искренен в своих опытах над людьми".

Горький анализирует не абстрактных "народных комиссаров", "революционеров на время", он анализирует Ленина. Дает портрет Ленина, полностью соответствующий образу, который мы находим в "Ленине в Цюрихе": "Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы... человек талантливый, он обладает всеми

свойствами "вождя", а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс".

Горький через несколько месяцев после революции, Солженицын через полвека с лишним видят Ленина одинаково. Но происхождение его характера объясняют они совершенно по-разному. И в этом различии нельзя не видеть знамения времени, а, быть может, последствий революции. Для Горького: "Ленин "вождь" и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу". Для Солженицына — отношение Ленина к русскому народу объясняется нерусскостью Ленина. Для Горького — свидетеля революции — она: дело рук горстки оторванных от народа, от страны интеллигентов, руководимых "русским баринном" Лениным. Для Солженицына — историка революции — она: дело горстки заговорщиков инородцев и чужеземцев.

Такой подход к революции пророчески предвидел другой ее свидетель — Иван Бунин. Он записывает в своем дневнике: "Левые" все "эксцессы" революции валят на старый режим, черносотенцы на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: "Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили".

"Ленин в Цюрихе" — блистательный портрет вождя партии, фанатика, одержимого своей миссией. Сила книга в ее напряженной концентрированности, редкой целеустремленности, в узости видения: в фокусе — Ленин и Парвус, все, что по краям, размыто, нечетко. Но в этом и — слабость этих глав, оторванных от Узлов книги. Оторвав Ленина от России — пусть даже это логически

вполне оправдано: Ленин-эмигрант был оторван от России, — Солженицын лишил своего героя (совершенно) необходимого фона. В значении этого фона легко убедиться, вставив первую главу "Ленина в Цюрихе" — 22 главу "Августа Четырнадцатого" — на ее место: между военными главами — 21 и 23. Жестокость боев, их кровопролитность подчеркивает чудовищность радости Ленина по поводу начала войны. Без контекста радость социалиста, приветствующего войну, приближающую революцию, носит абстрактно-теоретический характер. В романе — радость эта носит нечеловеческий характер.

Можно соглашаться с Солженицыным, не соглашаться, подтверждать или опровергать его взгляды. Для всех читателей "Ленина в Цюрихе" Ленин будет теперь таким, каким изобразил его Александр Солженицын. Можно спорить с Солженицыным — историком или философом. Нельзя спорить — с Солженицыным-художником.

Ноябрь 1975

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ В "КРАСНОМ КОЛЕСЕ"

1200 страниц "Октября Шестнадцатого", добавленные к 1000 страниц "Августа Четырнадцатого", позволяют получить представление о гигантском замысле автора "Архипелага ГУЛаг". Два первых "узла" "Красного колеса" – исторического "повествования в отмеренных сроках", как определяет писатель жанр своей работы, – охватывают период, начинающийся восхождением на престол Николая II (1884) и завершающийся 4 ноября 1916 года. Александр Солженицын сознает, что нельзя остановить поток истории, выбрать точку, с которой начинается поворот, и все же стремится найти мгновение, "момент правды", как говорят тореадоры, определяющий будущее.

Читатель, познакомившийся с двумя "узлами" повествования, присутствует при первых поворотах

”красного колеса”. Он понимает многое в замысле, но еще не все. Огромная книга с множеством персонажей — подлинных и фиктивных, с обилием фактов, размышлений и деталей, открыта для разных толкований. К тому же, Александр Солженицын, занимающий сегодня совершенно особое место в русской и мировой литературе, вызывает, как правило, у критиков и исследователей преувеличенно резкие эмоции. Его принято безоговорочно осуждать или безудержно хвалить. В 1931 году Евгений Замятин в письме Сталину объяснял свое положение: ”Как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта, так критика сделала из меня черта советской литературы”. Отношение к Солженицыну не только официальной советской, но и значительной части западной критики заставляет вспомнить об этой иронической жалобе.

Герой рассказа Хорхе Луи Борхеса ”Пьер Менар, автор ’Дон Кихота’ ” решает написать ”Дон Кихот”. Он имеет в виду не подражание роману Сервантеса, не вариант истории Рыцаря печального образа, но сам роман. Борхес создает образ идеального читателя: Пьер Менар не только изучает испанский язык XVII века, он перечитывает все книги, известные Сервантесу, исследует нравы и обычаи Испании, следом за писателем воссоздает его книгу. О таком читателе мечтают все писатели. Автор ”Красного колеса”, несомненно, заслужил его. Но пока, как можно судить, еще не нашел.

Я читал ”Красное колесо” как историк. Заглавие книги называет тему. А. Солженицын мог бы поставить эпиграфом слова главного персонажа рассказа Бориса Пильняка ”Повесть непогашенной луны” — ”Первого”: ”Историческое колесо... в очень большой мере движется смертью и кровью — особенно колесо революции”. Гово-

рит — знаток. В образе "Первого" Борис Пильняк в 1926 году изобразил Сталина, отправляющего на гибель наркомвоенмора Фрунзе.

Смерть, кровь, революция — это "красное колесо". После появления "Архипелага ГУЛаг" распространилось мнение, нередко высказываемое как упрек: Солженицын не принес ничего нового, о советских лагерях все уже было известно до него. Упрек несправедлив: было известно все — никто ничего не знал. Книга Солженицына открыла глаза — слово "гулаг" стало кратчайшим и точнейшим определением советской системы. Подтвердилась мысль Ипполита Тэна: надо быть большим писателем для того, чтобы быть историком.

"Красное колесо" — история русской революции. Солженицын не пишет, однако, исторического романа. Он испробовал этот жанр и пришел к выводу о его несоответствии замыслу, которым писатель был одержим, как он свидетельствует, "с 1936 года". Первый вариант "Августа Четырнадцатого", опубликованный в Париже в 1971 году, — замечательный образец исторического романа. Писатель разрушает структуру первичного "Августа" и в 1983 году публикует второй вариант книги. Если в первом издании жанр не был определен, во втором "Красное колесо" названо "повествованием в отмеренных сроках". А. Солженицын вновь ("Архипелаг ГУЛаг" назван "опытом художественного исследования") объявляет о создании особого жанра.

Трудность написания истории русской революции становится очевидной, если вспомнить, что, когда Мишле обратился — как и Солженицын, через 70 лет после событий — к "красному колесу", Франция успела пережить крушение монархии, якобинскую диктатуру, термидор, консулат, империю, возвращение Бурбонов, республику, вновь империю. Россия, через 70 лет после

Октябрьского переворота, превратившего ее в Советский Союз, остается во власти партии, организовавшей революцию. Истоки 17-го года и то, что произошло в момент свержения старого мира и начала сооружения нового, необычайно трудно изобразить сегодня в форме романа. "...Даже о гибели, — пришел к выводу Б. Пастернак в 1929 году, — можно в полную краску писать только тогда, когда она обществом уже преодолена и оно вновь в состоянии роста". Солженицын не мог взять как модель "Войну и мир", ибо Лев Толстой изобразил общество, пережившее катастрофу войны и победившее.

"Красное колесо" — новый жанр, в котором писатель стремится понять истоки гибели страны. Он совмещает историческое исследование с возможностями, которые дает роман. "Архипелаг ГУЛаг" был первым опытом "художественного исследования". Солженицын — современник описанных событий, рассказывает о собственной судьбе; поддержанная и подтвержденная 227 свидетельствами, она становится историей "ГУЛага" страны, которую не перестает корезить "красное колесо" советского государства. Писатель не был свидетелем событий, о которых повествуют "узлы" "Красного колеса". Он убежден, однако, что исследователь сегодня не только понимает, но и видит лучше события прошлого: "Современники были в самогипнозе"¹.

Для писателя нет сомнений: потомки умнее свидетелей революции на 70 лет. У него есть основания так думать: исторические источники — документы, свидетельства, мемуары — необозримы. Вся жизнь Солженицына, со дня, когда он задумал "большой роман о революции", была одержима "Замыслом". Герой "В круге первом" Глеб Нержин, alter ego писателя, доволен своей судьбой: "Откуда ж лучше увидеть русскую

революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?"² Тюрьма для него — необходимая ступень на пути к пониманию революции.

Юношей Александр Солженицын замышляет роман о революции, начинает его писать. Тридцать пять лет спустя он публикует первый "узел". Весной 1976 года, как рассказывает писатель в послесловии ко второй редакции "Августа Четырнадцатого", он собрал в Гуверовском институте в Калифорнии "обширные материалы об истории убийства Столыпина". Можно думать, что в тот момент А. Солженицын и обнаружил недостаточность рамок исторического романа, понял невозможность вместить в них свой "Замысел".

Ключ к пониманию причин и характера изменений "Августа", определивших форму и содержание "Октября Шестнадцатого" и, вероятно, всех последующих "узлов", следует искать в романе "В круге первом". В послесловии к окончательной редакции (седьмой!) писатель рассказывает о долгой истории книги, начатой в 1955 году и завершенной летом 1968 года. Широкую известность во всем мире роман получил, как разъясняет писатель, в сокращенном варианте, подготовленном с мыслью о возможной публикации в СССР. "Истинный", по выражению Солженицына, вариант "Круга" приходит к читателю в 1978 году. Новый (восстановленный) вариант отличается от старого (искаженного) прежде всего тем, что в нем с поразительной силой изображена страсть к истории, одержимость памятью о прошлом, раскрытые как основной мотив поведения двух главных героев.

Глеб Нержин еще в молодости услышал "немой набат — как Лантенак в "Девяносто третьем" Гюго. Гремит немой набат и требует: "Узнать и понять! откопать и напомнить!"³ Мальчиком ощущает он, что обманут, что

его кормят "исторической ложью". И вся его жизнь — молодость, война, тюрьма — становится поиском правды о прошлом. Обнаружив "поразительное свойство людей — забывать", Глеб Нержин делает выбор: найти правду и распять их ложь: "Четыре гвоздя их вранью... и пусть висит и смердит, пока Солнце не погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля"⁴.

Глеб Нержин видит в этом свою миссию, "свой долг и свое призвание".

История побуждает сделать выбор другого героя романа — Иннокентия Володина. Сюжетная линия, связанная с Володиным, подверглась наиболее серьезным изменениям. В "искаженном" варианте Иннокентий действительно — в соответствии с именем — невинен: он звонит жене профессора Доброумова, который лечил его в детстве, и предупреждает, чтобы профессор, выезжающий в командировку в Париж, ни в коем случае не передавал французским коллегам медицинский препарат. Володин долго боролся, прежде чем решился на этот телефонный звонок. Наконец, он сделал выбор — в память своей матери, своего детства. Этот звонок, подслушанный и расшифрованный, станет причиной ареста Иннокентия Володина.

В "истинном" варианте Володин, советский дипломат, звонит в американское посольство и сообщает авиационному атташе, который не хочет ни слушать, ни понять его, что на днях советский агент в Нью-Йорке получит важные технологические детали производства атомной бомбы...

В роман входит (возвращается) тема высшего долга, тема верности ему и измены.

Володин сделал выбор между верностью советскому правительству и своим долгом перед человечеством. Он бросился в пропасть, как пишет Солженицын, зная, что

погибнет, "потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу — и начнут ее трясти через год"⁵. Иннокентий пытается спасти цивилизацию, ибо понимает: "атомная бомба у коммунистов — и планета погибла"⁶.

Верность и измена — главный предмет размышлений и споров в романе. Каждый из его героев стоит перед дилеммой: совершить измену себе и сдать, либо остаться верным себе и почти наверное погибнуть. Но что такое верность, что такое измена? "Кто князь Курбский? — Изменник. Кто Грозный? — родной отец"⁷. Беспощадный спор идет о главном: что такое патриотизм, в чем измена родине, что такое родина? А. Солженицын дает слово непреклонному марксисту Рубину, агитировавшему во время войны немцев, звавшему их бросить оружие и перейти на советскую сторону, и непримиримому врагу коммунистической власти Сологдину, который полностью оправдывает действия бывшего зэка, отсидевшего 10 лет и перешедшего на сторону немцев, обратившего оружие против своих тюремщиков. Для Рубина выбор прост: "Да как ты можешь сравнивать?! Ведь объективно мой немец за социализм, а твой зэк против социализма!"⁸ Так же прост выбор для Сологдина: социализм — Зло, следовательно, необходимо бороться с ним. В "Архипелаге ГУЛаг", в главе, посвященной тем, кто весной 1945 года были объявлены "изменниками Родине", Солженицын продолжит размышления о патриотизме, верности и измене.

Из всех героев "В круге первом" Иннокентий Володин единственный, кто делает выбор вне тюрьмы — выбор, который приведет его за решетку. Поворот в отношении к миру, в котором Володин живет, причем живет очень хорошо, происходит в тот момент, когда ему открывается в старых газетах, фотографиях, те-

атральных афишах дореволюционное прошлое. Благополучным советским дипломатом движет не тоска по ушедшей России, но всепоглощающее чувство, что его обокрали, отняли прошлое, память. Осознав, что чудовище, пожравшее его память, грозит миру, человечеству, он пытается сказать об опасности. Совершает подвиг, объявленный изменой.

В длившихся очень недолго "годах учения Иннокентия Володина" важное место занимает услышанная им цитата из Герцена: "Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?"⁹ Володин делает выбор совершенно свободно: выбирает верность народу, цивилизации.

Тюремная решетка разделяет мир, в котором живут герои книг Александра Солженицына, написанных до "Красного колеса". Причем даже те из них, кто сию минуту еще не в тюрьме или уже временно не в тюрьме, живут в тени, отбрасываемой лагерными вышками. В этом мире зло и добро очевидны, белое и черное, свет и мрак резко отграничены. В "Красном колесе", повествовании о нормальном мире, все смешано, перепутано, переплетено. Некоторые торопливые читатели обвинили автора первых "узлов" в многочисленных грехах: в монархизме, антисемитизме, национализме и т. п. Советские критики осуждают писателя за антинародность и измену советской власти.

Страстные слова Глеба Нержина — узнать и понять! Откопать и напомнить! — раскрывают смысл солженицынского повествования. Многоголосый хор обитателей российской империи начала века звучит на страницах "узлов". Писатель дает слово выразителям главных политических направлений и умственных течений времени: монархисты, революционеры, антисемиты и евреи,

солдаты и генералы, мужики и думские депутаты говорят, спорят, воют между собой и с внешним врагом. А. Солженицына интересует прежде всего политическая история кануна революции, но политические симпатии автора постоянно уступают место человеческим. На страницах "Красного колеса" монархисты убедительно говорят о достоинствах монархии как института и ее необходимости для России, а рядом Солженицын рисует, быть может, самый безжалостный в русской литературе портрет монарха, причем благожелательность писателя к царю-мученику подчеркивает беспощадность анализа характера слабого самодержца. Нет сомнений в чувствах Солженицына к "бесам", собирающимся в цюрихских кафе, и главному среди них — Ленину. Одновременно нескрываемая симпатия автора чувствуется в описании не только человеческих качеств, но и действий руководителя большевистской организации в России Александра Шляпникова. Он нравится Солженицыну. Демонический Богров соседствует с милой Сусанной, объявляющей: "Я горда и счастлива, что я — еврейка".

"Красное колесо" — итог совместной деятельности историка и писателя в одном лице. Солженицын-писатель использует весь корпус доступных сегодня исторических источников. Солженицын-историк расширяет возможности документов страстно личным отношением к ним. Светоний, писавший "Жизнеописание двенадцати цезарей" в I веке н. э., переживал все случившееся в Риме задолго до его рождения как личную боль. Замечательная "История упадка и гибели Римской Империи" Эдуарда Гиббона, писавшего в XVIII веке, лишена элемента острой личной заинтересованности автора в судьбах тех, кто создавал и губил Рим.

Особенность "Красного колеса" — личное присутствие автора в событиях, о которых он повествует.

Задача историка — исследовать документ, подвергнуть его анализу, снабдить комментарием. Юрий Тынянов, работая над историческими романами, стремился выйти "за пределы документа", понять его дальние связи. Александр Солженицын входит в документ, становится его современником. Историк — автор "Красного колеса" собрал и усвоил огромный материал, писатель — автор "Красного колеса" придал этому материалу поразительную драматичность, страстно дискутируя с ним изнутри. Сухие стенограммы заседаний Думы, отчеты заседаний правительства могли вызвать интерес узкого специалиста-историка. На страницах "Красного колеса" они пульсируют жизнью, возмущают, раздражают, удивляют. Причем все эти чувства обращены не только к болтливым, рассудительным, глупым или умным депутатам думы и министрам; их вызывает автор, говорящий с нами из прошлого — гневный, иронический, знающий все, что случится потом.

Первый опыт "присутствия" в документе был сделан Солженицыным в "Архипелаге ГУЛаг", где писатель спорит с прокурором Крыленко, выворачивает его нутро, предсказывает ему гибель. В "Красном колесе" — это важнейший прием использования исторических источников. Писатель спорит с ораторами в Думе, цитируя мемуары, сопоставляет их с действиями и прежними высказываниями исторического персонажа, уличает, ловит на противоречиях. Глубоко изучив богатейший эпистолярный и дневниковый материал, Солженицын рисует блистательные портреты главных актеров трагедии: царя, царицы, Ленина. Портреты, как мозаичные картины, состояются из подлинных текстов — писем, ежедневных записей. Личное присутствие писателя выражается, в частности, в систематическом использовании иронии как инструмента анализа исторических документов.

Александр Солженицын употребляет иронию как наиболее экономную — самую сжатую, лаконичную форму раскрытия смысла источника. Писатель проявляет достойную высшей похвалы объективность, нелегкую беспристрастность: серной кислотой иронии выжигаются портреты всех главных исторических персонажей, независимо от личного отношения к ним автора. Не удивляет ирония в изображении Ленина. Еще более безжалостно-ироничен портрет императора. Достаточно Солженицыну написать: "Правда, иногда, по грешному нетерпению, хотелось более отчетливо знать Божью волю через мистические связи, которые существуют для сведущих. Для этого можно воспользоваться посредничеством тех таинственных людей, которые общаются с потусторонним миром... Как раз такой обаятельнейший человек — мсьё Филипп, оккультист из Лиона и доктор медицины, счастливо появился при петербургском дворе..."¹⁰ И корни появления при дворе сменявших друг друга шарлатанов, а затем Распутина становятся очевидными. Конфликт между Николаем II и Столыпиным, изображенный Солженицыным как столкновение, определившее судьбу России, удивительно сжато, психологически точно (на основании документов) и исчерпывающе выражен в раздражительном ответе государя на сообщение Столыпина о победе над революцией 1905 года: "Не понимаю, о какой революции вы говорите. Даже беспорядков бы не было, если бы власть была в руках более мужественных и энергичных людей, как ялтинский градоначальник Думбадзе"¹¹.

Ни разу Солженицын не оценивает прямо поведения императрицы, он лишь тщательно подбирает букет цитат из ее писем супругу. Александра искренне любит страну и ее народ, она страдает, видя бесполезные кровопролития войны, и начинает вникать в действия армии и

флота. "Необходимо дождаться более благоприятного момента, — настаивает она в письме верховному главнокомандующему, — а не слепо напирать, это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать. Мои штаны нужны и в ставке, идиоты!"¹² Невозможно лучше раскрыть характер Александры Федоровны и показать состояние дел в стране в последние месяцы 1916 года.

Николай II лично симпатичен автору, он подчеркивает добрые стороны его характера, он хорошо помнит о мученической гибели императорской четы. Но Солженицын ставит своей целью написать правду о революции. А правда в том, как писал Константин Леонтьев, что "хорошие люди нередко бывают хуже худых. Личная честность может лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству"¹³.

"Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно собрать и узнать, держась к историкам поближе, а от романистов подальше..."¹⁴, — так писатель, в первом томе первого "узла", определяет свой метод и остается верным ему во всех томах.

Возможно, заметим походя, этим объясняется то, что обзорные исторические главы, напечатанные мелким шрифтом в предостережение ленивому читателю, принадлежат к замечательнейшим страницам исторической литературы и нередко значительно больше волнуют, чем личные переживания некоторых персонажей.

В стремлении автора "Красного колеса" собрать весь материал о русской революции есть не только одержимость — и добросовестность — историка, но и неизбежное у советского человека ощущение обокраденности, есть желание узнать то, что от него старательно скрывают. Все историки знают чувство подавленности

материалом, который совершенно невозможно весь включить в задуманную работу. Перед каждым историком стоит труднейшая проблема отбора.

“Узлы” для Солженицына — синоним выбора. Он организует материал вокруг болевых точек в русской истории первых двух десятилетий нашего века. Его интересует в самую первую очередь политическая история, т. е. история власти — ее потери, ее захвата.

После публикации первого варианта “Августа Четырнадцатого” некоторые читатели — современники описанных событий — указывали автору на неточности в деталях: костюмах, марках автомобилей и т. п. Автор “Красного колеса” старается скрупулезно точно передать подробности быта минувшей эпохи. Но главное в его повествовании — в другом. Как великолепно выразился Борис Пастернак: “История не в том, что мы носили, а в том, что нас пускали нагишом”¹⁵. Это — тема “повествованья в отмеренных сроках”.

Вторая редакция “Августа Четырнадцатого” была не только изменением, внесенным в первый “узел”; изменился характер всего “повествованья”: родилось “Красное колесо”. Введение Столыпина дало всей эпопее идеального героя и точку отсчета. В первой редакции “Августа” центральным эпизодом была битва в Мазурских болотах, гибель 2-й армии и самоубийство генерала Самсонова. Убивавший себя полководец превращался в символ погибающей России. Появление Столыпина — во второй редакции — снизило драматичность первого поражения русской армии, гибели Самсонова, ибо все было уже predeterminedено убийством Столыпина в 1911 году.

Два выстрела, прозвучавших в киевском театре 1 сентября 1911 года, утверждает писатель, смертельно ранили Россию. А. Солженицын показывает первую

силовую линию: царь – Столыпин; это линия победы над революцией 1905 года, коренных преобразований России, начатых столыпинской аграрной реформой. Николай II, как демонстрирует писатель, не осознает ни значения Столыпина, ни смысла его реформ. Солженицын очень тонко показывает, что виновником непонимания был не только царь, но и его министр. Убежденный монархист, вернейший из верных, Столыпин, рассказывая своей жене о встречах с Николаем, всегда называет его "Малыш", "le petit", "люблю Маленького", – говорил он¹⁶. Или еще: "Царственный ребенок"¹⁷. Нет сомнения, что эта ласковая снисходительность ощущалась монархом. Подобные отношения между умным, многоопытным Бисмарком и Вильгельмом II также привели к разрыву между императором и его министром. Разрыв, правда, ограничился отставкой Бисмарка от дел.

В последние минуты перед принятием решения о вступлении в войну государь мучается отсутствием "твердого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя и ответственность и решение..." "Столыпин! – был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту здесь – Столыпина!..."¹⁸ Вряд ли так думал Николай II. Это писатель вступает в реку прошлого, чтобы выразить свое отчаяние, сожаление, напомнить о причине гибели России. Эмоциональность голоса, обращенного в прошлое, редко свойственная историкам, объясняется отождествлением писателя со своим героем. Рассказывая о бурном заседании Думы, на котором Столыпина со всех сторон атакуют враждебные ему депутаты, Солженицын переживает вместе с ним: "Со всех сторон череда несдерживаемых оскорблений – и вдруг пошатывается наша, никогда не шатавшаяся уверенность. Удар за ударом, попадая в нас..."¹⁹

Убийство Столыпина разрушает силовую линию. Война порождает новую: Ленин — царь. Первая победила революцию, вторая приносит революции победу. В истории, как ее понимает А. Солженицын, движущая сила — это активное "отборное меньшинство"²⁰. Писатель различает — активность добра и активность зла. В 1905-1906 гг. революционной активности зла противостояла силовая линия добра. После 1914 года чудовищно интенсивной активности зла-Ленина противостояла пустота, бессилие.

В композиции "Красного колеса" второй "узел" занимает особое место; в "Октябре Шестнадцатого" ничего не происходит (не считая, конечно, продолжающейся войны). А. Солженицын выбрал мгновение внешней неподвижности, какое бывает в песочных часах: песчинки уже начали все стремительнее вытекать, но наблюдатель еще не видит движения. В октябре 1916 г. песочные часы русской истории начали отсчитывать последние минуты, но "активное меньшинство" расходует скупое отмеренные часы на болтовню. Дебатируется, снова и снова, главный вопрос: что такое верность, что такое измена?

В первых двух "узлах" "Красного колеса" все действующие лица стоят перед выбором: верность или измена. Каждый из них делает выбор, определяет свое место по ту или другую сторону добра и зла. Персонажи "повествования в отмеренных сроках" раздираемы необходимостью выбирать между идеалом и долгом, чувствами и убеждениями, верой в утопию и реальностью, жаждой наживы и служебной обязанностью. Лишь один из них гармонически сочетает служение долгу и идеалу — Аркадий Столыпин. Он погибает, ибо его предают. Непосредственно — предатели те, кто должен был охранять председателя совета министров. Глав-

ное — Столыпина предаёт трон²¹. Верность и измена с особой силой показаны писателем в истории отношений между Столыпиным и Николаем II. Называя автора аграрной реформы "великим русским"²², Солженицын обнаруживает измену на самом высшем уровне: "Царь — ни в ту минуту, ни позже — не спустился, не подошел к раненому. Не пришел. Не подошел. А ведь этими пулями была убита уже — династия"²³.

Революционное движение, а затем война несут (пользуясь известным выражением — "как туча дождь") измену, истерический страх перед изменой. Провокаторы, которые служат революции и охранному отделению, охранники, служащие царю и оказывающие услуги революции, еврейские погромы в наказание за "измену", которую придумали как оправдание военным неудачам, обвинение в измене военного министра Сухомлинова, виселица для невинно осужденного за измену полковника Мясоедова — этой атмосферой дышат герои "Красного колеса". Центральный эпизод первого "узла" — убийство Столыпина — результат измены; заключительный эпизод второго "узла" — речь Милюкова в Думе 4 ноября 1916 года на тему "Глупость или измена".

Сюжетная неподвижность "Октября Шестнадцатого" носит лишь внешний характер: в глубине решается вопрос об отношении к войне и монархии. Марк Алданов, свидетель революции и автор большого цикла исторических романов, в которых поиски истоков катаклизма 1917 года начинаются в 1762 году, очень сжато и точно изобразил положение в России в 1916 г.: сепаратный мир с Германией был политической необходимостью и психологической невозможностью²⁴.

Главный сюжет второго "узла" — выбор между необходимостью и невозможностью. Октябрь 1916 года —

время заговоров, возникающих в поисках выхода; их возникает множество. Полковник Воротынцев приезжает в Петроград, чтобы познакомить читателей с "заговорщиками". Общее впечатление: Россия проиграла войну и близится революция. Солженицын справедливо указывает на "самогипноз современников", убедивших себя в поражении, которого в действительности не было. Писатель, не имея возможности изменить прошлое, верно его изображает.

Слева и справа все говорят о необходимости перемен на троне. Для подавляющего большинства "заговорщиков" необходимость дворцового переворота связана с необходимостью продолжать войну, избежать поражения. Монархист Воротынцев приходит к выводу о необходимости немедленно заключить сепаратный мир с Германией. Ему возражают либералы, Гучков, кадеты. С ним спорят монархисты – полковник Нечволодов, историк Андозерская – убежденные, что монарх и монархия нераздельны. Без монархии нет России, твердят Нечволодов и Андозерская. С этим монархом, возражает Воротынцев, бессмысленна даже победа, ибо в ходе войны "Россия подменится, станет другая Россия"²⁵.

Иннокентий Володин выбрал измену во имя высшей цели – спасения человечества. Воротынцев готов совершить измену – ради спасения России. Володин делает выбор – и погибает. Единственным результатом пребывания Воротынцева в Петрограде была – измена жене. Единственным итогом бурной "заговорщической" деятельности русского политического класса было убийство Распутина, совершенное в декабре 1916 года.

"Заговорщики" в России не могут решиться на действие, на осуществление своих планов, ибо им мешают чувства долга, верности присяге, слову, данному союзникам. В 1918 году патриарх Тихон осудит

подписание Брестского мира прежде всего как измену данному слову. Такого рода моральные терзания не мучали заговорщиков, собиравшихся вокруг Ленина в Цюрихе. Но и ленинский "кегель-клуб" проводит время в бесплодной болтовне до тех пор, пока не появляется Парвус, разработавший подробный план уничтожения России и раздобывший под этот план деньги от немцев. Парвус и Ленин — наиболее яркие образцы "активного меньшинства", действующего во имя Зла. Они выбрали — давно и бесповоротно — революцию против России.

За или против России, верность или измена России — к этому сводится, в конечном счете, выбор, который должны сделать все действующие лица "Красного колеса". Но для персонажей "повествования" Солженицына, как и для современников описанных событий, не было одной России. Каждый из них видел ее по-своему. Для царя Россия — это наследство, оставленное ему отцом. Для царицы — наследство, которое следует во что бы то ни стало передать сыну. Для крестьян — это место, где они родились, живут и умрут. Для либералов — это народ. Ольга Андозерская, историк, предлагает наиболее полное определение: Россия — это народ, но "еще и крыша, под которой народ живет. Общий дом для народа, иначе называемый российским государством"²⁶. Воротынцев, влюбленный в Ольгу, расходится с ней в понимании "российского государства": он — против империи, легко отдает полякам, финнам их земли. "Дом" Воротынцева — исконно русские территории. Их границы не так просто определить. В числе войн, которые в последнее столетие вела Россия, полковник Воротынцев выделяет только одну справедливую — Крымскую. Ее, — говорит он, — нужно было вести. Его можно понять — заключительный эпизод войны шел в Крыму. Но можно и возразить ему: Крымская кампания началась

вторжением русских войск в Молдавию и Валахию в 1853 году, а кроме того, Крым стал русским лишь в 1783 году, всего за 70 лет до начала войны.

Концепция России как "дома", не желающего раздвигать свои стены в чужие земли, несомненно близкая Александру Солженицыну, определяет его отношение ко многим проблемам войны и революции, в частности, к "еврейскому вопросу". Внимание, уделенное евреям и еврейскому вопросу в "Красном колесе", объясняется прежде всего местом, которое он занимал в русской политике описываемой эпохи. Война резко обострила споры о евреях потому, что сотни тысяч беженцев из западных губерний заполнили города глубинной России, где до того евреев не бывало, усиленно распространяемые слухи об "измене" воплотились в конкретный образ еврея-беженца, союзники России использовали "еврейский вопрос" для нажима на царское правительство в собственных интересах. Оппозиция в Думе требовала равноправия для евреев, стремясь к объединению вокруг этого требования всех враждебных правительству сил.

Если остается верной знаменитая формула — не может быть свободным народ, угнетающий другие народы, — остается совершенно справедливым замечание Солженицына, указывающего на поразительный факт: и после революции 1905 года и Манифеста 17 октября крестьяне, то есть подавляющее большинство населения России, не обладали всеми гражданскими правами.

Точка зрения Солженицына последовательна и ясна: еврейский вопрос — результат имперской экспансии, евреи могут спокойно и счастливо жить в России, если они выберут своим домом — Россию. Как это сделали, например, Архангородский и Сусанна. Это, впрочем, относится и к представителям других национальностей. С

величайшей симпатией изображает писатель инженера Ободовского: "...Дело человека заложено и ждет его именно там, где он родился. Происхожденья Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией"²⁷.

Любимые герои Солженицына думают и спорят об истории. "В круге первом" одержимы историей Глеб Нержин и Иннокентий Володин. В "Красном колесе" история мучает Саню Лаженицына и Воротынцева: им излагают свои историсофские взгляды Варсонофьев, священник отец Аверьян, Ольга Андозерская.

"Красное колесо" далеко еще не закончено, и подводить итоги взглядам А. Солженицына на историю рано. Все написанное им до сегодняшнего дня позволяет считать, что, отвергая гегеле-марксистскую концепцию "закономерностей" и прогресса, писатель видит в истории действие двух сил: Замысла и Случая. По своей натуре Божий замысел таинственен. Солженицын скажет в одном из интервью: когда-нибудь мы поймем замысел о 17-м годе. Загадочный Случай более очевиден. Множество примеров случайных событий приводит писатель: случайно царь прочел записку Столыпина в 1906 году и назначил его в правительство, случайно началась мировая война...

Твердо уверен А. Солженицын в наилучшей государственной системе для России: она учитывает исторические особенности страны, характер ее народа, ее просторы. Писатель излагает свою точку зрения "В круге первом", в статьях, вошедших в сборник "Из-под глыб", в "Красном колесе". С этими взглядами согласны герои Солженицына, сидящие в тюрьме в 1950 году и размышляющие о судьбах России в 1916 году. Наиболее сжато излагает их инженер Герасимович в романе "В круге первом": "Справедливое неравенство! Неравенство,

основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите — авторитарное государство, хотите — власть духовной элиты”²⁸. В “Октябре Шестнадцатого” скажет об этом Воротынцев: “Историю делает — отборное меньшинство”²⁹. Во второй половине века писатель назовет его “техно-элитой”.

Трагедией России, — говорит Солженицын, — было отсутствие “элиты”. Были талантливые, понимающие, умеющие люди — например, Шипов, Кривошеин. Им не хватало необходимого качества, которым обладал Столыпин: “воли творить Историю, стать вождем”³⁰.

Трагедией, результатом случая было и то, что революция имела Ленина, желавшего “творить Историю”, бывшего вождем.

Писатель Солженицын расширяет возможности историка Солженицына: блестящая глава (62-я) в “Августе Четырнадцатого”, например, принесла бы автору высшую оценку при защите исторической диссертации, если бы не была слишком хорошо написана. Сочетание историка и писателя в одном лице имеет и обратную сторону: писатель не обязан давать только одну, свою, точку зрения на события, он может представить их множество. И тогда у читателя возникают вопросы. Например: в первом “узле” мы читаем историю Марии Спиридоновой, гимназистки, убившей усмирителя крестьян, изнасилованной казаками, сосланной на каторгу³¹. Из второго “узла” читатель узнает, что Мария Спиридонова, гимназистка, убила любовника и за это была осуждена³². Писатель передает эти взгляды устами разных персонажей и не заботится о разногласиях. Историк обязан не только представить разные взгляды, но и выразить свое мнение о них.

Некоторые точки зрения Солженицына вызывают вопросы: историк, высказывая неортодоксальные взгляды,

ссылается на источники, писатель никак не обязан этого делать. Спор становится более трудным. Например, может вызвать возражения оценка автором "повествования" взаимодействия между Россией и союзниками в ходе войны. Он снова возвращает нас в конфликт между верностью и изменой. Россия в 1911 году подписала военное соглашение с Францией, обещая выступить против Германии сразу же после мобилизации. Русское вторжение в Восточную Пруссию действительно помогло французам остановить немцев на Марне, одержать победу, которая сыграла решающую роль в ходе всей войны. Поражение Второй русской армии в Мазурских болотах рождает тенденцию свалить вину на союзников. "...Назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах, — такая нервная спешка всех охватила спасти Париж"³³. И несколькими страницами далее: "Начнем... при полной неготовности — на 15-й! Ведь друзьям плохо, для друга слазь и в грязь..."³⁴ Эта точка зрения спорна по нескольким причинам: во-первых, вряд ли можно говорить о "полной неподготовленности" русской армии. Она была готова, имея значительное численное превосходство в пехоте, кавалерии и артиллерии, но готова, по выражению английского историка, как понимал готовность Жилинский³⁵, т. е. весьма ограниченно. Но это уже совсем другой вопрос. Во-вторых, поражение Франции под Марной, бесспорно, обрекало на поражение Россию. Возможно, что быстрое окончание войны и заключение мира предотвратило бы революцию, но летом 1914 года все мечтали только о победе. Наконец, был подписан договор, и нарушение его в то время казалось немыслимым. Развивая свою точку зрения, Солженицын настаивает, что и в 1915 году русская армия только "выручала союзников". Когда на слишком горькие сетования Воротынцева отвечает

”справедливее” Свечин, он снисходителен: ”Французы под Верденом тоже сто тысяч потеряли”³⁶. В действительности французы потеряли около 400 тысяч, а немцы — 600 тысяч, что не могло не облегчить положения на русском фронте.

В старом споре об Азефе автор ”Красного колеса” категоричен: разговоры о провокаторстве Азефа — миф, в действительности он верно служил охране. Такова была и точка зрения Столыпина. А. Солженицын не привел достаточного количества аргументов, разоблачающих ”азефовский миф”. Он указывает, например, что ”в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте”³⁷ во время террористических актов, а Азеф находился за границей во время убийства Плеве и Сергея Александровича. Это верно. Но Азеф находился в двух шагах от Бориса Вноровского, бросившего 6 мая 1906 года бомбу под коляску московского генерал-губернатора Дубасова.

Страницы, посвященные Богрову, представляют чрезвычайный интерес потому, что они великолепно написаны, и потому, что представляют собой отличный пример работы Солженицына над источниками. Дело Богрова, как известно, сгорело при пожаре Киевского охранного отделения после февраля 1917 года. Сохранились, однако, протоколы допросов самого Богрова, киевских и петербургских жандармов. Сохранились свидетельства тех, кто знал убийцу Столыпина, имеются воспоминания Курлова, Герасимова...

Для портрета Богрова использованы воспоминания анархиста И. Гроссмана-Роцина. У него же взял писатель ”остроумие” убийцы³⁸, которое угадывает — каким образом? — в лице человека, подбегающего к нему для выстрела, Столыпин³⁹. Характер Богрова и ”миссия”, которую он берет на себя, раскрываются в раз-

говоре будущего убийцы и Егора Лазарева, видного члена партии социалистов-революционеров. Солженицын использует воспоминания Е. Лазарева, но обращается с ними не как историк, а как писатель. Богров объясняет Лазареву, почему он выбрал целью Столыпина: "...Думаю, что он является теперь самой зловредной фигурой и вождем правительственной реакции"⁴⁰. Солженицын влагает в уста Богрова слова: "Если можно так выразиться — он слишком хорош для этой страны"⁴¹. Лазареву Богров заявляет: "Я еврей, и позвольте вам напомнить, что мы и до сих пор живем под господством черносотенных вождей"⁴². У Солженицына Богров говорит Лазареву: "Именно потому, что я еврей, я не могу снести, что мы, позвольте вам напомнить, до сих пор живем под господством черносотенных вождей"⁴³.

Знавшие Богрова революционеры объясняли его поступок — убийство Столыпина — желанием искупить грех службы в охранном отделении. В истории русского революционного движения было немало подобных случаев. Богров пришел к Лазареву, добиваясь согласия эсеров принять на свой счет террористический акт, который он готовил. Богров соглашался даже убить кого-нибудь другого: "Пусть партия укажет какое угодно другое лицо"⁴⁴. А. Солженицын настаивает, что Богров хотел обязательно убить Столыпина. Для этого есть основание. Анархист Петр Лятковский, сокамерник Богрова перед казнью, узнал от часового, что, когда Богрова вели на эшафот, он успел сказать: "Самая счастливая минута в моей жизни только и была, когда я узнал, что Столыпин умер"⁴⁵. Подобно другим товарищам Богрова по революционной деятельности, Лятковский объясняет эти слова как выражение удовлетворения удачным террористическим актом, который смывал позор предательства. Для А. Солженицына

убийство Столыпина было исходом столкновения светлых и темных сил, причем темные силы воплощал еврей Богров, отвергший Россию. Имеющиеся исторические материалы недостаточны для подобного утверждения.

Писатель и историк Александр Солженицын одновременно восстанавливает прошлое и создает свой художественный мир, свое представление о прошлом. "Красное колесо" — это одновременно литературное произведение, историческое исследование и размышления на жгучие актуальные темы. Актуальность правды о прошлом не нуждается в доказательствах. Достаточно привести небольшой, красочный пример. Солженицын реабилитирует казненного по лживому обвинению полковника Мясоедова, приводя данные, в частности, о доносе "сукиного сына подпоручика Колаковского"⁴⁶, послужившем основанием для суда и казни. Одновременно с публикацией "Октября Шестнадцатого" в Париже, в Москве появилась книга, в которой говорится о "мужестве, уме и достоинстве русского военного офицера Якова Колаковского..."⁴⁷

Значение "Красного колеса", актуальность эпопеи — в другом. Александр Солженицын демонстрирует необходимость для человека самому делать выбор, свободно решать, как ему жить и как жить стране, дому, в котором он обитает. Автор "Красного колеса" предлагает "среднюю линию" — между левыми и правыми. Политика Столыпина кажется ему идеальной, ибо она была "линией по лезвию"⁴⁸.

Только свободный человек может представлять "элиту", "активное меньшинство". Только "активное меньшинство" может воздействовать на историю. Когда "красное колесо" двинулось, в России не оказалось "активного меньшинства". Что случилось дальше, будет рассказано в следующих "узлах".

”Повествование” о прошлом адресовано в сегодня и завтра: следует понять, что случилось, и понять, что человек должен делать выбор сам. Писатель утверждает верность себе и Дому как подлинные ценности, в отличие от верности режиму или правительству.

Октябрь 1985

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Октябрь Шестнадцатого. Вермонт-Париж, 1984. Том 2, с. 509.
2. В круге первом. Вермонт-Париж, 1978. Том 1, с. 363.
3. Там же, с. 285.
4. Там же. Том 2, с. 195.
5. Там же. Том 2, с. 268.
6. Там же, с. 272.
7. Там же, с. 273.
8. Там же, с. 152.
9. Там же. Том 2, с. 83.
10. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 378-379.
11. Там же, с. 221.
12. Октябрь Шестнадцатого. Том 2, с. 417.
13. Цит. по: Николай Устрялов. Под знаком революции (Сборник статей). Харбин, 1927, с. 236.
14. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 383.
15. Борис Пастернак. Спекторский. — В его кн.: Стихотворения и поэмы. М., 1965, с. 336.
16. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 220.
17. Там же, с. 244.
18. Там же, с. 449.
19. Там же, с. 238.
20. Октябрь Шестнадцатого. Том 1, с. 332.
21. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 344.
22. Там же, с. 310.
23. Там же, с. 250.

24. М. Алданов. Ульмская ночь. Нью-Йорк, 1953, с. 172.
25. Октябрь Шестнадцатого. Том 2, с. 25.
26. Там же. Том 1, с. 419.
27. Там же, с. 394.
28. В круге первом. Том 2, с. 317.
29. Октябрь Шестнадцатого. Том 1, с. 332.
30. Там же, с. 251.
31. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 82-83.
32. Октябрь Шестнадцатого. Том 1, с. 224.
33. Август Четырнадцатого. Том 1, с. 89.
34. Там же, с. 125.
35. Norman Stone. The Eastern Front 1914. 1917, London, 1975, pp. 1, 8, 49. Генерал Я. Г. Жилинский (1853-1918) был начальником Генштаба, с начала Первой мировой войны командовал Северо-Западным фронтом. Один из виновников поражения русской армии в Восточной Пруссии в 1914 году.
36. Октябрь Шестнадцатого. Том 2, с. 16.
37. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 214.
38. И. Гроссман-Рощин. Дмитрий Богров, убийца Столыпина. — "Былое", № 26, 1924.
39. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 248.
40. Егор Лазарев. Дмитрий Богров и убийство Столыпина. — "Воля России", №№ 8-9, с. 43.
41. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 132.
42. Егор Лазарев, с. 51.
43. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 132.
44. Егор Лазарев, с. 47.
45. П. Лятковский. Нечто о Богрове. — "Каторга и ссылка", № 2, 1926, с. 44.
46. Октябрь Шестнадцатого. Том 2, с. 452.
47. Александр Горбовский, Юлиан Семенов. Без единого выстрела. Из истории российской военной разведки. М., 1983, с. 362.
48. Август Четырнадцатого. Том 2, с. 537.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
Великий писатель	6
Архипелаг ГУЛаг I: Возвращенная память	14
Архипелаг ГУЛаг II: Воскрешение духа	40
Архипелаг ГУЛаг III: Черты будущего	59
Ленин в Цюрихе: портрет	77
Вчера и сегодня в "Красном колесе"	89